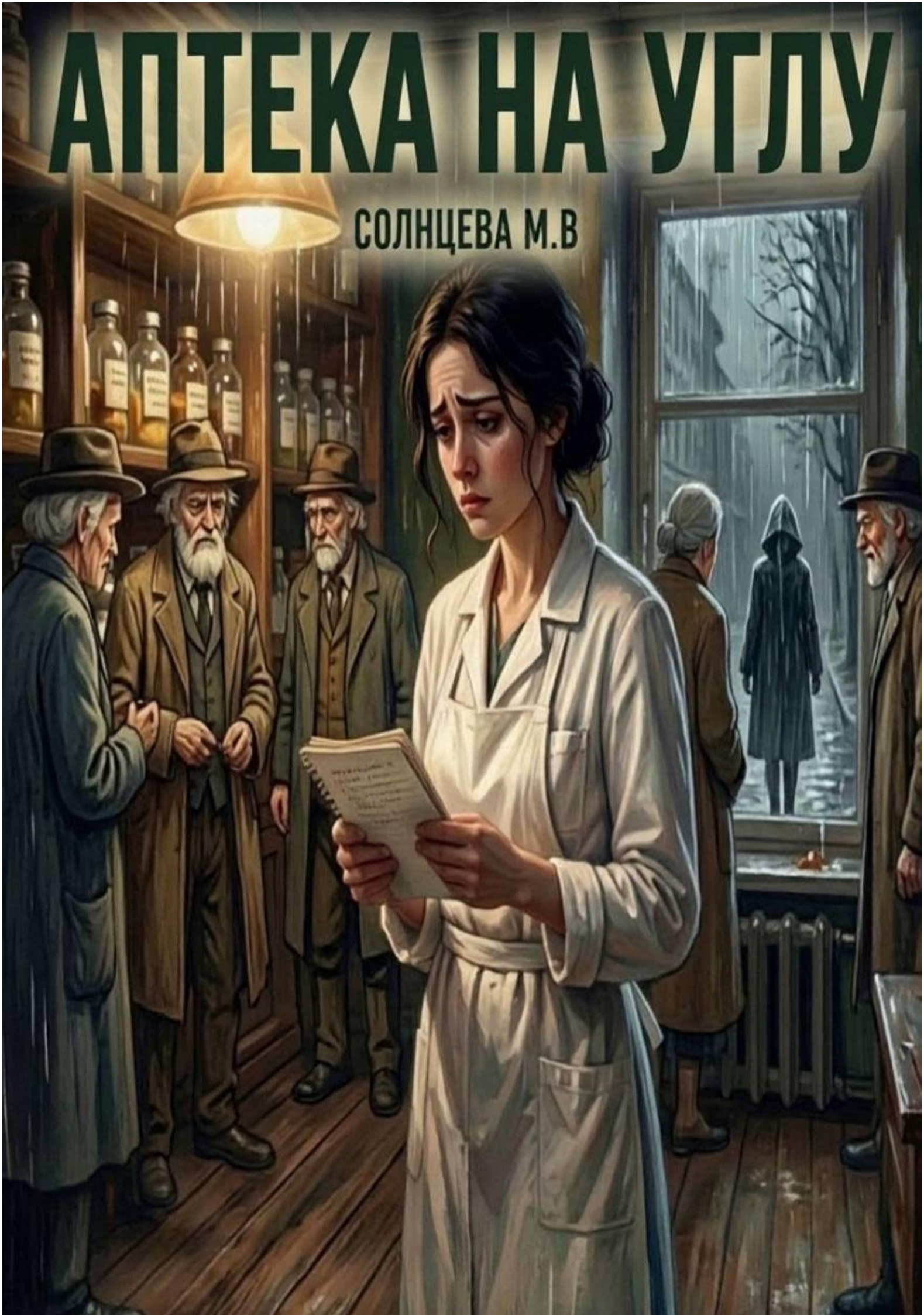
# АПТЕКА НА УГЛУ

СОЛНЦЕВА М.В



Маргарита Солнцева

# Аптека на углу

«Автор»
2026

**Солнцева М. В.**

Аптека на углу / М. В. Солнцева — «Автор», 2026

Даша, 21 год, работает в аптеке на углу Базарной и Советской, доставшейся отчиму с долгами.За три месяца в городе умирают пятеро пожилых соседей. У каждого находят рецепт на капли от давления с одной и той же лишней пометкой. Милиция списывает смерти на возраст.У Даши с девяти лет мигрень с аурой: во время приступов комната искажается, а люди вырастают до потолка. В её медкарте записаны три безопасных слова. В дождливые дни, когда приходит загадочная женщина в дождевике, Даша видит мир искажённо. Это делает её показания бесполезными для милиции.Даша ведёт тетрадь отпуска, как учила бабушка: записывает, кому и что продала, по какому рецепту. Из записей видно: все пять рецептов принесла одна женщина, притворявшаяся то внучкой, то соцработницей, то соседкой. И все визиты были в дождливые дни, когда в аптеке нет очереди.В городе начинается провинциальное расследование с участием местного врача, фельдшеров, участкового и похоронного агента.

© Солнцева М. В., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Весы не врут 6
Один провожатый 12
Двадцать один бланк 18
Кто колет 24
Запятая в середине слова 30
Пока всё хорошо, я никто 37
Конец ознакомительного фрагмента. 43

# Маргарита Солнцева
# Аптека на углу

Провинциальный детектив

**Аптека на углу**

Солнцева М.В.

У пятерых умерших стариков в кармане лежал один и тот же рецепт. Даша помнит, кто его приносил — и знает за собой, что её собственные глаза врут: у неё с девяти лет приступы, когда люди и вещи меняют размер, а время течёт как сироп. Поэтому она верит не глазам, а тетради, и потому ей не верит в городе никто.

**Главные герои:**

Даша Королёва, двадцать один год, фармацевт, помнит лекарства лучше, чем людей: у неё мигрень с аурой и приступы, когда мир меняет размеры и уезжает вдаль, — врачи пишут в карточке «мигрень с аурой», потому что слова «синдром Алисы в стране чудес» в карточку не пишут, а сама она давно перестала объяснять это кому бы то ни было: с человеком со странностями в этом городе не разговаривают, его лечат или терпят. Отчим Даши, Аркадий Петрович, владелец аптеки, у которого долги и своя вина. Тётя Наташа, санитарка из поликлиники, знающая про всех больше, чем поликлиника. Врач Христофоров — старик, который выписывает рецепты «на всякий случай». Участковый Сорокин, у которого в год сорок дел и ни одного лишнего. Женщина в дождевике, которую в аптеке знают под тремя именами.

# Весы не врут

Аптека на углу Базарной и Советской открывалась в восемь, и первым покупателем всегда был кто-нибудь с давлением.

Даша ставила чайник, выкладывала на прилавок «корвалол» и нитроглицерин, поднимала жалюзи и до девяти часов успевала отпустить половину смены соседних бабушек — тех, у кого кончилось, тех, у кого «доктор сказал», тех, кому надо просто поговорить. Остальное время она вела тетрадь: бабка учила её так, «чтобы не забыть, кто чем тут дышит», и в тетради было всё, чего не было в компьютере, — кто взял два блистера вместо одного, кто вернул сдачу через неделю, кто приносил рецепт в грозу, кто всегда говорит «мне как обычно».

О первом из пятерых она узнала от соседки: умер Пётр Лукьянович, у которого был диабет и который каждую субботу покупал аскорбинку, «потому что внук любит». Умер во сне, в кресле, с пультом в руке — так и сказали, и это было честно: он восемьдесят четыре года жил, и сердце у него было как у всех в его возрасте.

Через трое суток Даша нашла его рецепт у себя в тетради, заложенный на нужной странице, потому что рецепты она складывала в тетрадь вместе с записями: бумажки, квитанции, накладные.

Рецепт был обычный: капли от давления, три раза в день, сорок капель, курс шесть месяцев, врач Христофоров. Даша даже помнила день: среда, дождь, у аптеки ни одного человека, женщина в дождевике вынула бумажку из сумки и сказала: «Это Лукьяновичу, бабушка попросила, он сам сейчас не ходит».

Про женщину она тоже помнила: двадцать девять, светлые брови, дождевик серо-зелёный, фраза «он сам не ходит».

Второй был Григорий Абрамович, дворник, умер на лавочке у своего подъезда; третий — Клавдия Ивановна, у которой роза на стене умерла вместе с ней. И у каждого в сумке, в кармане, в ящике кухонного стола лежал такой же сложенный вчетверо рецепт: капли от давления три раза в день, сорок капель, шесть месяцев, подпись Христофорова.

Участковый Сорокин пришёл в аптеку на четвёртый день, то есть позже, чем Даша начала бояться.

Он был грузный, приличный, и ему было неудобно, потому что женщина за прилавком — это не то место, где положено спрашивать про смерти.

— Осень, Даша, — сказал он. — Ты же сама понимаешь: люди приходят домой, ложатся и всё. У нас в год сорок дел, и ни одного убийства, и мне это нравится.

— А рецепт?

— Рецепт там был не у всех. У одного, кажется, в аптечке. У другого — в сумке. Ну принёс ему кто-то рецепт, он и купил, потом лечился или нет — это как у всех.

— У всех пятерых — один рецепт, — сказала Даша. — Один врач, одна дозировка, курс один и тот же.

Сорокин посмотрел на неё долго.

— Ты что, мне тут статистику ведёшь? — спросил он без злобы. — Дарья, у нас один врач на весь квартал. Он что, должен каждому выписать разное?

Он ушёл. Даша заперла кассу, села на табуретку, вынула тетрадь и переписала на новый лист пять дат.

Пять дат, пять дождей, пять фамилий, одна рука.

Дождь в тот вторник начался в восемь, ровно в ту минуту, когда Даша подняла жалюзи, и к девяти в зале стало темно, как в ноябре.

Отчим велел включить верхний свет — четыре длинные лампы под потолком, из которых одна всегда горела синим, потому что он покупал их по одной, в разных магазинах, и никогда не менял ту, которая ещё светит.

Первой выросла покупательница.

Это не было страхом и не было удивлением. Это было ровно то, что случалось с Дашей два раза в месяц с тех пор, как ей исполнилось девять лет, и она давно перестала этому удивляться: женщина у прилавка, минуту назад обыкновенная женщина в пуховом платке, стала увеличиваться — медленно, как тень от лампы, и не вся сразу, а по частям: сначала голова, потом рука с кошельком, и кошелёк сделался величиной с паспортный стол.

— Дарья, милая, ты чего белая? — сказала женщина голосом, который доехал до неё как из-за закрытой двери.

— Сейчас, — сказала Даша. — Зинаида Марковна, я вам сейчас отобью чек, и вы идите, не стойте.

Она отбила чек и сдала сдачу на ощупь, но касса считала сама, а кассе в такие минуты она верила больше, чем себе. Потом дошла до подсобки, держась за прилавок, потому что пол не был ровным: он поднимался к середине, как мост.

В подсобке она легла на кушетку, на которой отчим спал в инвентаризацию, отвернулась к стене, накрыла глаза мокрым полотенцем из-под крана и стала ждать.

Потолок над ней был высокий и очень далёкий, как в вокзале. Стена сделалась шершавой и огромной, как склон. В зале говорили, и голос шёл волнами: то близко, то далеко, и между словами стояли длинные вязкие паузы, которых в жизни не бывает. Часы на руке стали чужими — она чувствовала ремешок, но не чувствовала, что это её рука.

Так прошло двадцать пять минут. Потом всё начало возвращаться: сначала часы, потом стена, потом звук, потом она сама.

Даша села на кушетке, сняла полотенце и первым делом вынула из ящика гирьку в сто граммов.

Она положила её на чашку весов и подождала, пока стрелка не встанет.

Сто и есть сто. Стрелку весов двигает железо, а не глаз, и потому весам в такие минуты можно верить.

Дальше она достала из сумки тетрадь — тонкую, синюю, в двенадцать листов, купленную в областном городе, потому что в нашем таких не держат.

Тетрадь называлась «Приступы», и никакого секрета в ней не было: в аптеке её видел каждый, кто заходил в подсобку за коробками, потому что Даша не прятала её никогда. Она вообще не прятала того, что о ней и так знали все: в городе, где на четыре тысячи человек одна аптека и одна поликлиника, ничего не скроешь, кроме, пожалуй, крупных денег.

В тетради были столбцы. Дата. Начало. Сколько длилось. Что видела. Что делала.

Четырнадцатое января: девять десять — девять сорок. Всё стало далёким и мелким, как в перевёрнутом бинокле. Стены вытянулись, у пола выросли углы. Прошло после сна.

Двадцать девятое января: половина двенадцатого, двадцать минут. Голова в размере не менялась, но комната сделалась широкой и плоской, как на фотографии. Отпустило после таблетки.

Одиннадцатое февраля: дождь, оттепель, давление упало, в зале никого. Руки стали большие и не мои. Держала в руках гирьку, чтобы проверить, что будет казаться. Казалось всё, кроме гирьки.

Аптечная проверка гирькой была её собственным изобретением, и Даша не сумела бы объяснить, откуда она взялась: кажется, от бабки, которая говорила, что в аптеке есть только две вещи, на которые можно положиться, — весы и бумага, а всё остальное, включая глаза, — расходный материал.

Бабка умерла, когда Даше было двенадцать. Бабка работала в этой аптеке тридцать четыре года, принимала товар и знала наизусть, что в какой коробке, и научила внучку единственной науке, которую считала наукой: записывать. «Ты запиши, что видела, а не что подумала, — говорила она. — Подумать ты потом можешь сколько угодно, а вот что было — это надо ловить сразу, потому что оно уходит».

До девяти лет Даша думала, что так бывает со всеми. Потом она сказала матери, что тётя в зале сделалась маленькая и поэтому дала ей деньги на два блистера, а та взяла один, — и мать не испугалась, не начала щупать ей лоб и не повезла её в больницу.

Мать сказала: «И у меня так бывает. Полежи, потом поговорим».

Это «и у меня так бывает» Даша вспоминала потом всю жизнь и не понимала до самого последнего года: мать сказала так не потому, что ей было всё равно, а потому, что она знала наперед всё, что бывает дальше, — и что дальше хуже всего не приступ, а люди.

Дальше хуже всего было то, что фармацевт, который видит вещи не в том размере, — это не фармацевт, а опасность: он отпускает лекарства и держит в руках ампулы.

В областной город Даша ездила на автобусе, два часа сорок минут, к неврологу Марьяне Игоревне, женщине в белом халате поверх свитера, которая смотрела её третий год и говорила одно и то же.

— Мигрень с аурой, — говорила Марьяна Игоревна. — Ничего у тебя не найдено, и это не находка, это норма: у тебя чистая картинка, чистая кровь, чистые сосуды, и при этом ты видишь мир, извините, в кривом зеркале. Так бывает. Один человек из ста с чем-то там имеет такое и живёт до восьмидесяти лет.

— А как это называется, — спросила Даша в первый раз, когда ей было шестнадцать.

— Мигрень с аурой, — сказала невролог, и по её лицу было видно, что она отвечает так не потому, что не знает другого слова, а потому, что другого слова в карточку не пишут.

Другое слово Даша нашла сама, ночью, в интернете, на втором году этих приступов: синдром Алисы в стране чудес, нарушение восприятия размеров, расстояний и времени, чаще всего у молодых, часто вместе с мигренью, и очень часто — у детей, у которых потом всё проходит. Название было из книжки, которую она прочитала в девять лет и не поняла, а в двенадцать перечитала и узнала всё: и увеличивающуюся голову, и комнату, которая растягивается, и то, как время течёт, как сироп, и то, как свой собственный голос делается чужим, будто говорит не ты, а кто-то в соседней комнате.

Она спросила у Марьяны Игоревны про это название ровно один раз.

— Это не диагноз, — сказала та. — Это название книжки. Ты хочешь, чтобы я тебе написала в карточку «синдром Алисы в стране чудес»? Мне за это сделают замечание, а тебе с этой бумажкой потом лечиться не будут не только у невролога, а вообще нигде. У тебя в карточке стоит: мигрень с аурой. С этим ты — человек с мигренью. С тем — человек со странностями.

Даша тогда согласилась, потому что было шестнадцать лет, и потому что у неё в самом деле было три нормальных слова в карточке, с которыми можно жить.

В двадцать один год она бы, наверное, ответила иначе: потому что человек со странностями — это, оказывается, ровно то, чем ты бываешь в глазах участкового, когда приносишь ему пять дат и одну подпись; и потому что человек с мигренью — это то, чем ты бываешь в глазах матери, которая говорит «и у меня так бывает» и достаёт из шкафа зелёную тетрадь.

Таблеток у неё было три вида: от случая — та, дорогая, плоские блистеры по три штуки, купленные в области; каждый день — магний, потому что Марьяна Игоревна была из тех, кто верит в магний, и потому что с ним в самом деле было легче; и на всякий случай — как ни называй, а всё-таки лекарство.

И было правило, самое простое: не голодать, спать, не пить вина, не сидеть в зале при мигающих лампах.

Последнее правило в аптеке на углу было невыполнимым: лампы там менял тот, кто экономил.

Тогда, во вторник, Даша дописала строчку, закрыла тетрадь и прислушалась.

За стеной шуршали весы и звенела касса. Дождь шёл ровно, длинно, без ветра, и в зале, как всегда в такую погоду, не было ни одного человека, кроме Зинаиды Марковны, которая уже ушла со своими каплями.

И Даша сделала то, что делала в такие минуты второй месяц: открыла вторую тетрадь — ту самую, бабкину, с отпуском, — и посмотрела на даты.

Пять рецептов. Пять дней.

Пятое декабря, вторая половина дня, без двух минут дождь, женщина в дождевике вынула из сумки сложенную вчетверо бумажку.

Двадцать девятое января.

Одиннадцатое февраля.

Она открыла «Приступы» и стала смотреть в первый столбец.

Двадцать девятое января — здесь. Одиннадцатое февраля — здесь. Пятое декабря — здесь, и запись в тот день была короче других, потому что Даша не стала разбираться: «15.40, десять минут, всё мелкое, отпустило ни с чего».

Она положила рядом лист из календаря, где отмечала погоду — дождь, оттепель, ветер, — и получилось так, как получалось в её жизни всегда: сошлось до дня.

Пять рецептов пришли в аптеку в те самые пять дней, когда у Даши всё делалось маленькое и далёкое, когда она отпускала по привычке, по номеру на бланке, по подписи, не вглядываясь ни в лицо, ни в карман этого дождевика.

Она сидела на кушетке с полотенцем на шее и разбирала это медленно, как разбирают рецепт, где всё написано верно, кроме одного.

Значит, женщина в дождевике приходила к ней тогда, когда Даша была не в себе.

Значит, женщина в дождевике это знала.

Даша отложила календарь, выдохнула и сказала себе то, что потом повторяла ещё три месяца, всякий раз одинаково, вслух, чтобы услышать самой:

— Ты не видела ничего. Ты видела бумагу. Бумага — вот она, и на ней стоит номер.

В аптеке хранилось то, чего не было в компьютере: рецепты.

Их складывали по месяцам в картонные ящики из-под «аскорбинки» и держали три года, потому что так велел ещё прежний хозяин, а прежний хозяин велел так, потому что три года — это срок, за который в их городе всё забывается. Даша разложила на прилавке пять бумажек и включила настольную лампу.

Рецепты были на бланках: узкие полоски с зелёной сеткой, номер типографский, номер серии. Она выписала номера и увидела то, что мог бы увидеть любой человек, у которого есть глаза и полчаса времени.

Пять рецептов были из одной книжки бланков.

Номера шли подряд — 1148, 1149, 1150, 1151, 1153, — и это значило, что бланки вынимали из одной пачки, один за другим, в одном месте и, судя по номерам, в течение короткого времени. В поликлинике бланки расходуют медленно: одна книжка уходит за год, потому что их выдают по одному на приём, а не отрывают пачками. Здесь кто-то оторвал пять листков из середины.

— Ну и что? — сказал Аркадий Петрович, её отчим, когда она показала ему номера вечером. — Христофоров старый. У него эта книжка с прошлого года лежит, он из неё всем выписывает, потому что новую ему не выдают.

— Он уже год не ведёт приём.

Аркадий Петрович — большой, медленный, с руками в потрескавшейся коже — долго молчал, глядя в стол.

— Он год не ведёт приём, — повторил он. — А бланки у него в кабинете. Кабинет у него заперт, но ключ, Даша, у санитарки, а санитарка ходит к нему домой, потому что он один и лежачий. Ты хочешь сказать, что старуха приносит нам рецепты, которые никто не выписывал?

— Я хочу сказать, что у него не могли выписать пять рецептов после инсульта. У него рука не работает.

— Так, — сказал Аркадий Петрович. — Тогда я тебе скажу вот что. Ты сейчас возьмёшь эти бумажки, положишь их обратно в ящик и забудешь. А в четверг я сам схожу в поликлинику.

Даша не пошла в поликлинику. Она пошла в аптечный подвал, где стояла печка, потому что зимой в торговом зале холодно, и где отчим держал всякую бумагу, которую не надо держать наверху: старые накладные, рекламные листовки, счета с оптовой базы.

Она спустилась туда за коробками, а нашла запах.

Дым пах не дровами: в подвале пахло жжёной бумагой, и в печке, за дверцей, ещё тлели уголки накладных. Даша открыла дверцу кочергой и вытащила то, что не успело прогореть.

Это была накладная с оптовой базы, за июнь, на сумму, от которой у неё похолодели руки, и на ней, в графе «получатель», стояла подпись её отчима. Рядом, на полу, лежали ещё три такие же пачки, приготовленные к сожжению, и на верхней, в углу, было от руки выведено: «Христофоров И.И., 1140–1160».

Она стояла с бумагой в руках, и в тёмном подвале было слышно, как наверху, в зале, хлопнула входная дверь и как отчим сказал кому-то приятным, громким голосом: «Заходите, заходите, у нас всё есть».

Вечером Даша не сказала отчиму ничего и весь вечер проработала в зале: считала кассу, переписывала заявку на препараты, два раза разложила по полкам коробки.

Она думала про номера.

Пять бланков из одной книжки, с промежутком: 1148, 1149, 1150, 1151, 1153. Между 1151 и 1153 пропущен 1152. Один бланк был вынут из пачки и куда-то делся, и это значило не то, что он потерян, а то, что его использовали, но рецепт в ящик не положили.

Ночью она спустилась в подвал ещё раз, одна, со своим ключом от чёрного хода, и перебрала в печке всё, что осталось.

Накладных было четыре пачки. Первая прогорела почти чисто: серые листы, которые рассыпались в руках. Вторая и третья сохранили угол с датами: август, июль, июнь, всегда конец месяца, всегда сумма около трёхсот тысяч, всегда подпись отчима. Четвёртую она вытащила почти целой — тесто ещё держало форму листа — и разложила на газете, подставив лампу с телефона.

Это была накладная за октябрь: препарат, от которого в аптеке не бывает очередей, но который всегда уходит, потому что его берут не по одному — его берут курсами.

В графе «получатель» стояло: «ИП Тихонов А. П.». Это был её отчим.

В графе «количество» стояло число, от которого у неё онемели пальцы: две тысячи восемьсот упаковок. В аптеке за месяц по кассе проходило девятнадцать.

Даша набрала этот препарат в поиске на телефоне и стала читать то, что обычно читают только врачи: показания, ограничения, сроки.

Потом она сделала то, от чего у неё в первый раз за три месяца появилась ясная, спокойная злость: она взяла ящик с рецептами за прошлый год, высыпала сентябрь на прилавок и стала искать среди трёхсот бумажек зелёную сетку с номером 1152.

Она нашла его почти сразу, потому что бумажка торчала из середины пачки, а не лежала в ней по порядку.

На бланке стояло выписанное Христофоровым И. И. — почерк тот же, разборчивый, с наклоном, — лекарство то же, курс тот же, дозировка та же. Дата — третье ноября прошлого года, то есть за две недели до того, как у старика случился инсульт.

В графе «фамилия пациента» стояло: Тихонов Аркадий Петрович.

Похоронное бюро называлось «Ритуал» и стояло в двух кварталах от рынка, за киоском с семечками, между парикмахерской «Локон» и приёмом стеклотары, который открывался раз в неделю.

Даша знала это место с детства и всегда проходила его быстро, глядя в сторону: в детстве она думала, что если долго смотреть на такую витрину, то кто-нибудь из родни умрёт.

Внутри, за столом, на котором лежала книга в коленкоровом переплёте, сидел Виталий Егорович Сотников, агент, мужчина шестидесяти лет в чёрном костюме, купленном, судя по всему, лет двадцать назад и надеваемом только на работу, потому что воротник у него блестел от времени ровно так же, как блестит воротник у всех, кто носит костюм двадцать лет.

— Аптечные, — сказал он, не поднимая головы. — Извиняться пришли? Не надо, я на вас не держу: люди валятся не по вашей вине.

— Я хочу спросить про похороны.

Он поднял голову.

— У вас кто? — спросил он сразу, как спрашивают у всех, кто входит и молчит.

— Никто, — сказала Даша. — У меня пятеро. За три месяца: Пётр Лукьянович, Григорий Абрамович, Клавдия Ивановна, Пантелеев Семён Ильич и Кириллова Анна Петровна.

Виталий Егорович откинулся на стуле, и стул скрипнул на весь кабинет.

— Пятеро, — сказал он. — Хорошо. Только сначала я тебе объясню, как я тут живу, а потом ты поймёшь, почему я на тебя смотрю, как на дуру. У меня в год сто двадцать. Сто двадцать человек, значит, шестьдесят гробов с музыкой и шестьдесят без, и я знаю всех по фамилиям, потому что если я их не запомню, то меня не запомнят. За три месяца пятеро в одном квартале — это не статистика, деточка. Это букет. Я такие букеты видел три раза за двадцать лет: в девяносто восьмом, когда тут всем не платили семь месяцев, в четырнадцатом, когда грипп пошёл по старикам, и вот сейчас.

Он открыл коленкоровую книгу и повёл по строкам пальцем, не торопясь, как читают счёт.

— Лукьяновский Пётр Лукьянович. Декабрь. Заказчик — Ляпина Н. Г., социальный работник. Сосновый, без музыки, машина до кладбища, участок.

— Григорий Абрамович... — он нашёл строку, — ...Салин. Декабрь. Заказчик — тот же, Ляпина.

— Январь, Клавдия Ивановна Игнатьева. Тот же заказчик.

— Февраль, Пантелеев Семён Ильич. Тот же.

— Февраль, Кириллова Анна Петровна. Тот же.

Виталий Егорович закрыл книгу, но палец оставил между страницами.

— Все пятеро — сосновый, без музыки, без венков. Один и тот же заказчик. И у всех пятерых на кладбище был один человек провожатых. Ты понимаешь, что это значит?

— Мне сказали, у них никого нет, — сказала Даша.

# Один провожатый

— У них у всех была родня. Я двадцать лет на этом деле, и я тебе так скажу: у нас в городе на похоронах меньше десяти человек не бывает никогда. Даже у пьяницы без документов соберётся пять, потому что сосед придёт из любопытства. А тут — один. Одна женщина в плаще до самого надгробия, и всё. Я тогда ещё подумал: богатая, одинокая старуха — это я понимаю, а пять богатых одиноких старух за три месяца — это уже самодеятельность.

— Можно посмотреть на её подпись?

— На подписи смотреть можно. — Он развернул книгу к ней. — Вот: Ляпина Н. Г., вот телефон. Телефон, деточка, я записываю тот, с которого мне звонят, а не тот, который мне диктуют, потому что мне заказчика потом искать, и если он диктовал с чужого, я по своему телефону хотя бы узнаю место.

Даша посмотрела на строчку с телефоном и перестала слышать, как за стеной в парикмахерской гудит фен.

Номер был наш: две четырнадцать — ноль восемь.

Аптека на углу Базарной и Советской — это был единственный в квартале телефон, куда разрешали звонить кому угодно, и он был написан на листке, приклеенном к стеклу изнутри: «Справочная аптека 2-14-08».

— Понравилось? — спросил Виталий Егорович, поглядев на её лицо. — Мне тоже понравилось, когда я это увидел. Я поднял прошлогоднюю книгу, я нашёл ещё троих с этим номером. Всего восемь. Восемь заказов с телефоном вашей аптеки.

— Вы говорили кому-нибудь?

— Милиции? — Он усмехнулся. — Дарья, у нас всё население — четыре тысячи человек, из них половина знает друг друга, а вторая половина друг с другом не разговаривает. Я когда-то пошёл в милицию с бумажкой. Мне участковый сказал: «Спасибо, Виталий Егорович, у нас в год сорок дел, и ни одного убийства». — Он произнёс это так точно, с той же интонацией, как Сорокин в аптеке, и Даша поняла, что Сорокин говорит это всем и всегда, и что это у него не от лени, а от хорошего, спокойного убеждения.

— Пётр Лукьянович был с диабетом, — сказала Даша. — Клавдия Ивановна — сердце. Они все были старые, у всех были свои диагнозы, если смотреть по фамилиям, то тут и смотреть нечего.

— Ты мне об этом говоришь? — спросил агент. — Я одеваю людей, а не лечу. Но я тебе скажу, что я видел, и это тебе, может, пригодится больше диагнозов. Когда одеваешь покойника, надо вынуть то, что у него в карманах, потому что не всегда родня приходит, а деньги и документы должны лежать в одном месте. Вот я и вынимаю. У Салина Григория Абрамовича в кармане пальто лежал листок: столбик чисел, а поперёк — зеркальным, что ли, почерком написано «четыре». Четыре раза в день, значит. У Игнатьевой Клавдии Ивановны в сумке лежала тетрадка школьная, двенадцать листов, в клетку, с записями: кто заходил, что принёс, сколько денег дал. У Анной Петровны Кирилловой — вот смех — лежала накладная аптечная, накладная с вашей печатью, а она, между прочим, не аптеку при жизни держала, а бухгалтером в райпо была.

— У неё в сумке была накладная?

— У неё накладная была на столе под клеёнкой, аккуратно проглаженная. Я её не забирал: не моё. Но запомнил, потому что накладная — это не то, что хранят под клеёнкой. Это то, что в папке.

Даша записала в тетрадь всё: пять дат, пять фамилий, заказчика, телефон, накладную под клеёнкой, листок с надписью «четыре».

— А ещё я тебе скажу самое главное, — сказал Виталий Егорович, вставая. — Ты ищешь женщину. Ты идёшь за женщиной, я, может, и сам бы пошёл. Только женщина в плаще — это не твоя находка: женщина в плаще — это следствие, это кто-то, кого послали или кто сам себя послал. А находка у тебя вот здесь, — он постучал пальцем по коленкоровой книге, — в графе «заказчик». Потому что заказчик приходит с документом, и по документу видно, откуда человек приехал. Ты знаешь, что она мне предъявляла? Справку из собеса на социальное пособие на погребение. Не копию, а справку с номером, деточка, с номером и с датой. Я такие справки вижу раз в год, потому что их дают не всем, а только если смерть одинокого и если заявитель-соцработник. А у меня их за три месяца пять.

Даша закрыла тетрадь.

— И вы отдали её в милицию? Справку, я имею в виду.

— Я снёс её в собес — туда, откуда её и выдают: у меня в бумагах всё либо сходится, либо не принимается. Но номер я списал. Номер справки: четыреста двенадцать, четыреста сорок три, четыреста пятьдесят восемь, четыреста восемьдесят шестая и четыреста девяносто вторая. — Он заглянул в листочек, вложенный в книгу, и продиктовал медленно, как диктуют фамилию, которую потом будут писать в акте.

Даша записала и это.

Уже в дверях она обернулась:

— Скажите, а в девяносто восьмом у вас тоже было пятеро?

— В девяносто восьмом у меня было шесть, — сказал Виталий Егорович. — Шесть, в ноябре, за три недели, и все шестеро — из одного дома, того, что с лифтом не работает. Тогда у меня, между прочим, книгу забрали на неделю, и это единственный раз за двадцать лет, когда у меня кто-то что-то спрашивал, кроме родни. Вернули потом без единого слова. Вот и весь детектив, как ты его называешь.

Утром Даша не пошла в поликлинику и не пошла к Христофорову: она пошла в свой подвал и пересчитала.

В надписи, сделанной на верхней пачке, стояло: «Христофоров И. И., 1140–1160». Двадцать один номер. Двадцать один бланк, вынутый из одной книжки, и это не рецепты для пяти человек, а рецепты для двадцати одного: разница, которую в аптеке не видят, потому что в аптеке видят только то, что принесли.

Пять из них она держала в руках. Один — тот, что с её отчимом, — лежал отдельно. Пятнадцать гуляли где-то в городе.

Она поднялась в зал, открыла компьютер и стала смотреть, по каким рецептам им приносили заказы в прошлом и позапрошлом году. Касса хранила всё: дату, номер чека, наименование. Не хранила она только одного — номера бланка, потому что в аптеке номер бланка не вводят.

И тогда Даша сделала то, до чего додумалась бы неделю назад и чего не сделала бы никогда, если бы не печка: она позвонила в районную поликлинику и спросила, как у них учитываются бланки строгой отчётности.

Ей ответили то, что она и ждала: книжки бланков хранятся у старшей медсестры, выдаются врачам под запись в журнале, корешки остаются в книжке, а книжка после использования сдаётся в регистратуру.

— А можно узнать по номерам, кому выдавали? — спросила она.

— Можно, — сказали ей. — Только это не телефонный разговор, приходите.

Она пришла в обед и просидела в регистратуре два часа, разглядывая журнал выдачи.

Книжка с номерами 1101–1180 была выдана в ноябре прошлого года врачу Христофорову И. И. под подпись. Двадцать девятого ноября он сдал её обратно — точнее, её сдала санитарка Зоя Дмитриевна, которая за ним ходила, и напротив сдачи стояла подпись: «З. Д. Кузьмичёва».

В книжке не хватало двадцати одного корешка. В журнале это отмечено не было.

Даша поехала к Христофорову.

Он жил на Первомайской, в доме со старым палисадом, и в доме было тепло и очень чисто. Зоя Дмитриевна, женщина лет шестидесяти, в халате и в шерстяных носках, впустила её без удивления, будто к ней ходили каждый день, и провела в комнату, где на кровати лежал Иван Ильич Христофоров.

Он лежал на спине, повёрнутый к окну. У него работала левая рука и глаза; он смотрел на Дашу долго и внимательно, и в этом взгляде не было ни мысли, ни привета — он просто смотрел, как смотрят на предметы.

— Он всё понимает, — сказала Зоя Дмитриевна. — Только сказать не может. И если что-то не так, он сердится: начинает в стену стучать.

Даша присела у кровати и достала из сумки пять рецептов.

Она не показывала их старику — она просто держала их в руках, чтобы Зоя Дмитриевна увидела зелёную сетку, и увидела сразу, и поняла, что ей не отвертеться.

— Скажите, — спросила Даша, — эти бланки он подписывал?

Зоя Дмитриевна стояла, держа в руках полотенце, и смотрела не на рецепты, а на Дашу.

— Ты, — сказала она, — Дашка, что ли? Из аптеки на углу.

— Из аптеки.

— Так вот, — сказала санитарка, — я тебе скажу, как было, но ты меня потом не трогай. Бланки ему носил не я. Я их только сдавала: собрала, что в кабинете лежало, и увезла, как велели. Носил их твой отец. Твой, — повторила она, потому что Даша дёрнулась. — Аркадий. Он приезжал раз в месяц, забирал пачку и привозил в конверте бумажки, чтобы Иван Ильич подписывал. Иван Ильич в то время уже плохо видел, и он подписывал всё, что ему подкладывали, потому что ему говорили: «это ваши больные».

Даша сидела на стуле, и в комнате было слышно, как за окном где-то очень далеко, за домами, идёт электричка.

— А потом он перестал подписывать, — сказала Зоя Дмитриевна. — В ноябре. Мы тогда к нему приехали, врача ждали, и он уже вот такой лежал. А бланки к тому времени все разошлись.

— Все двадцать один?

— Все двадцать один, — сказала санитарка. — Шесть он подписал, когда ещё подписывал. А остальные дописывали уже сами.

В этом месте Даша вынула из сумки лупу — обычную аптечную лупу, которой они проверяли накладные, — и посмотрела на все пять рецептов по очереди.

Почерк был один и тот же. Одна рука, один наклон, одно перо.

И в каждом рецепте, в самой середине, стояла лишняя запятая: не после слова, а внутри него, между двумя согласными, — так, как её может поставить только тот, кто переписывает чужой текст, а не тот, кто пишет сам.

Лишняя запятая была и в рецепте, выписанном на Тихонова.

Клавдия Ивановна Игнатьева жила на втором этаже дома с балясинами на балконах, в квартире, где в зале на стене была нарисована роза — её рисовал муж в восьмидесятые, — и где Обойный клей держался только потому, что обои были не обои, а краска по штукатурке.

Даша поднималась туда за тонометром.

В аптеке на углу было три тонометра, и два из них всегда ходили по рукам: их давали старикам «на время», потому что аппарат — вещь дорогая, а давление — вещь ежедневная. Записывали это в отдельную тетрадь, где вместо расписки стоял крестик: кто не умел подписаться, ставил крестик, и это в аптеке считалось нормальной бумагой.

За Клавдией Ивановной тонометр числился с ноября.

Дверь открыла девушка лет двадцати четырёх, в бежевой, не здешней куртке, с телефоном в руке.

— Вы из поликлиники? — спросила она.

— Я из аптеки. За тонометром.

Девушка посмотрела на неё внимательнее и отступила в сторону.

— Проходите. Оля.

— Королёва. Даша.

— Я знаю, кто вы, — сказала Оля. — Бабушка вас называла «наша девочка». Она у вас в ноябре была, и вы ей дали таблетки в долг, и она потом месяц ходила, потому что стыдно было. Она мне это по телефону рассказывала два раза.

В квартире пахло так, как пахнет там, где месяц не открывают форточку: пылью, сухим и чем-то ещё, что Даша определила сразу, потому что нюх у неё был рабочий: застарелый запах валерианового настоя.

Роза на стене была на месте. Она была написана жёсткой рукой, из тех, кто не умеет писать красками, и потому держалась на стене как нарисованный цветок в учебнике ботаники: стебель, два листа, пять лепестков, всё правильно и ничего похожего.

— Я приехала на девятый день, — сказала Оля. — Думала — на неделю. Сижу второй месяц.

— А кто же вас... — Даша запнулась, — хорон...

— Пособие. Выражение такое: пособие на погребение. — Оля вынула из шкафа папку с бумагами, и Даша увидела, что у неё в папке всё на месте: скоросшиватель, вкладыши с файлами, разделитель с надписью от руки, — потому что не бывает человека, который приезжает на похороны бабушки с папкой, а потом уезжает, не разобрав папку. — Я работаю в МФЦ. Я эту процедуру знаю лучше, чем свою жизнь. Мне позвонили из собеса на второй день, потому что в собесе есть база и потому что я у них в базе как родственница, и сказали: не надо никуда ходить, приедет человек, всё оформит, подпишите тут и тут.

— И приехал?

— Приехал человек, — сказала Оля равнодушно. — Женщина, лет пятидесяти, я не разглядела. Она была в дождевике и в капюшоне, и я тогда решила, что она ехала с кладбища, потому что в тот день дождило. Она мне разложила бумаги на столе и показала пальцем, где подписать, и сказала, что сама всё отнесёт, потому что ей всё равно туда ехать. Я подписала не читая, потому что у меня в тот день было: девять звонков, крышка, памятник и тётя Люда, которая в очереди на кладбище стояла и всё время хотела чаю.

— Что было за бумаги?

— Заявление, — сказала Оля, — доверенность на оформление и согласие. Три бумаги. Я, дура, даже не спросила фамилию: там же внизу подпись, и паспорт она показывала не мне, а как-то так, вбок.

— Подпись помните?

— Нет. — Оля посмотрела на Дашу. — Я работаю в МФЦ, я вижу по сто подписей в день. Это как лица в метро.

Даша достала свою тетрадь.

— Оля, я буду спрашивать неприятные вещи. Можно?

— Спрашивайте. Мне, по-хорошему, только этого и надо, чтобы кто-нибудь спрашивал. Я тут две недели сижу и понимаю, что бабушка умерла как-то... — она поискала слово и не нашла, — ...без бумаг.

— Как она умерла?

— Двадцатого января, ночью, дома. Соседка утром пошла за хлебом, стучала, потом вызвала. Врач написал: «сердечная недостаточность, дома, до приезда скорой». У неё в кармане халата лежал листок: столбик чисел и слово «четыре».

— Это вы нашли?

— Это тот дядька из ритуалки на бумагу переписал, когда одевал. — Оля поморщилась. — Он такой, ему нравится разговаривать.

— А кто ей колол?

— Капли я привезла, — сказала Оля. — Точнее, не я. Бабушка говорила, что к ней заходит женщина, внучка Галя.

Даша подняла глаза.

— Внучка?

— Да. — Оля усмехнулась. — Я сначала думала — бабушка путает. Она меня иногда называла Олей, а иногда Олькой, и разницы между мной и мной она уже не чувствовала, знаете, как это бывает. Но «Внучка Галя» — это она говорила точно и всегда одинаково: приходит и приносит. У неё в тетрадке, где она всё записывала, Галя стоит три раза.

— Где тетрадка?

— Здесь. — Оля пошла на кухню и вернулась с тонкой школьной тетрадкой в клетку, на которой в верхнем правом углу было написано «Игнатьева 3 кл.». — Её мама, то есть бабушкина дочь, то есть моя мать, заставляла писать: кто пришёл, что принёс, сколько денег. Чтобы было потом чем отвечать, если что-то пропадёт. У нас в семье так: сначала бумага, потом человек.

Даша открыла тетрадку.

Записи были как у всех стариков, которые учились в три класса и потом всю жизнь работали руками: буквы с наклоном, цифры ровные, потому что цифры пишут по счёту, а буквы — по памяти.

«4 янв. Гриша-слесарь, вода горячая 2 ч.» «6 янв. Ольга приед.» «9 янв. Внучка Галя, капли, 500 р., хлеб, и продухты» «12 янв. Внучка Галя, ставила уколы, 200 р.» «13 янв. Соседка Валя. Огурцы.» «15 янв. Внучка Галя, ставила уколы, больше ничего не принесла» «18 янв. Валя. Болит голова».

Даша прочитала всё это дважды и на третий раз почувствовала, как у неё в затылке, справа, начинает тянуть, знакомо и тошно, — и сразу посмотрела на окно: за окном стоял серый, ровный, с утра пошедший дождь.

— Она уколы ставила, — сказала Даша.

— Ставила, — согласилась Оля. — Бабушка вообще-то ходила в поликлинику, у нас два раза в год приходят на дом, но она говорила, что эта лучше: пришла, уколола и ушла, а в поликлинику надо записываться за месяц.

— Как она выглядела?

— Я её видела один раз, в дверях, из кухни. Не разглядела лица, там капюшон был и мокро было на всём. Могу сказать только странное, — Оля задумалась. — Она не разулась. У нас внизу в подъезде грязи по колено, все снимают сапоги, потому что полы деревянные, а она не сняла, просто вытерла и пошла. Так делают не гости, так делают те, кто приходит по работе и на пять минут.

— Ещё?

— Ещё сумку держала на весу, — сказала Оля, и показала, как: рука согнута, локоть прижат. — Так я ношу фотографии, когда мне надо донести их без заломов. И пахло от неё, — Оля вдруг поморщилась, — не духами и не больницей, а как у нас в процедурном пахнет: спиртом и нашатырём, и ещё чем-то, что я не знаю, как назвать. Мне это было противно, потому что бабушка запах спирта не выносила.

— А дышала она как?

Оля удивилась вопросу и опять задумалась.

— Знаете, — сказала она наконец, — она дышала так, как будто считала. Носом, ровно, и на выдохе чуть задерживалась. Как будто внутри у неё шло число.

Даша записала это в тетрадь слово в слово, а потом задала последний, главный вопрос:

— Клавдия Ивановна сама её в квартиру пускала? Ей было за кого взяться?

— Она её называла внучкой, — повторила Оля. — То есть за неё взяться было нечем: у бабушки одна внучка, и это я.

Потом Оля отдала ей и тетрадку, и тонометр, и даже предложила забрать валерианку из кухонного шкафчика, потому что забирать из чужой квартиры лекарства — это, кажется, было единственное, что Даша делала там как аптека.

— Бабушкина бумажка с зелёной сеткой у меня ушла, — сказала она в дверях, будто вспомнив. — Рецепт. Он лежал в кухонном столе, под скатертью. Та женщина, которая оформляла пособие, при мне его взяла и сказала, что отнесёт в поликлинику: чтобы карту закрыли, и чтобы нам потом не ходить.

— И вы отдали.

— Я отдала. — Оля смотрела ей в лицо спокойно, без вины. — Я, по-вашему, должна была подумать, что бумажка с давлением — это улика? Даша, у нас в стране, чтобы бумажка стала уликой, надо, чтобы человек сначала умер, а потом уже нашёлся тот, кто её читает.

Даша спустилась по лестнице, где на первом этаже был магазин «Птица», и там, из дверей, пахло курицей и опилками, и пошла домой, держа под курткой тонометр, а в сумке — школьную тетрадку в клетку на двенадцать листов.

Она не знала ещё ни про 1998 год, ни про то, что записи в клетку — это то же самое, что её собственная тетрадь отпуска, и что вся эта история в городе держалась ровно на одном: кто-то должен был за кого-то писать.

Поликлиника помещалась в бывшем райкоме — здание с широкой лестницей и колоннами по фасаду, из-за которых весь город называл его «белым домом», хотя белым он был только в мае.

Внутри пахло хлоркой и мокрыми бахилами. Бахилы продавали в гардеробе, голубые, по пять рублей, и объявление об этом было написано от руки, с двумя ошибками, которые Даша всякий раз читала, поднимаясь по лестнице: «бахилы обязательны, у кого нет — приобрести в гардеробе».

Старшую медицинскую сестру звали Тамара Ильинична, и она сидела не в кабинете, а в нише за регистратурой, между двумя шкафами, где лежали папки, бланки и препараты строгой отчётности, которые в этой поликлинике почему-то называли «важные бумажки».

Даша вошла к ней с той же нехитрой уловкой, с какой в такие места входят все: она принесла сверку.

— Тамара Ильинична, здравствуйте. Аптека на углу, Королёва. Нам надо сойтись по льготным рецептам за сентябрь — ноябрь: у нас по книжке двадцать один бланк, и мы должны понимать, по каким назначениям.

— Должны, — согласилась Тамара Ильинична и без всякого интереса вынула из шкафа сшитую тетрадь в коленкоровой обложке. — Только сойтись у нас не получится, потому что у нас считается количество, а не назначения. Назначения — это карта, а карту тебе никто не даст, потому что карта — это врачебная тайна, и за неё меня с работы снимут быстрее, чем за недостачу бланков.

— Покажите хотя бы количество.

— Количество — пожалуйста. — Она открыла журнал на середине и развернула его к Даше, и Даша увидела те самые графы, которые помнила по училищу: дата, номер с какого, номер по какой, количество, кому выдано, подпись получателя.

# Двадцать один бланк

Журнал учёта бланков строгой отчётности был в этой поликлинике единственной бумагой, которую заполняли без сокращений, потому что за бланки спрашивали сверху, а за людей — нет.

Даша нашла строку почти сразу, потому что номер был знаком ей наизусть, как телефон.

Третье сентября: с 1140 по 1160, двадцать один бланк. Получила: Кузьмичёва З. Д.

— Это санитарка, — сказала Тамара Ильинична, даже не заглядывая. — Зоя Дмитриевна, из физиотерапии. Она за бланками ходит, она же их и сдаёт: у неё доступ, потому что у неё нет ни диплома, ни должности, а значит, ей можно доверять.

— Почему ей можно доверять?

— Потому что она не может выписать ни одного рецепта, — сказала Тамара Ильинична. — Бланк — это бумага. Кто её заполняет, тот и есть врач. Санитарка бланк может только донести.

Даша смотрела на строку и думала о том, что донести — это в аккурат то, что в этой истории делают все: носят бумажки от одного человека к другому и не считают это делом.

— А испорченные у вас есть?

— Есть. — Тамара Ильинична перелистнула две страницы вперёд. — У нас испорченный бланк — это событие. Мы его не выбрасываем, мы его подкалываем и пишем: испорчен, погашен, подпись.

В графе «испорчено и погашено» за те месяцы стояло три номера: 1145, 1151, 1157.

— Почему испорчены?

— Потому что человек — не машина. — Тамара Ильинична пожала плечами. — У нас за год двести с лишним испорченных. Врач пишет, рука дрогнула, он берёт новый. Или пациент помер, пока рецепт писали, — это тоже бывает, и это тоже «испорчен».

Даша переписала себе три номера и строку про Кузьмичёву, а потом спросила то, что в таких разговорах спрашивают наугад, вслепую, надеясь, что человек проговорится:

— А если бланк заполнен не тем, кто в нём написан?

— Это не ко мне, — сказала Тамара Ильинична ровно, как по инструкции. — Это к врачу, который подписал. И это, Королёва, называется не «заполнен не тем», а «подделка», и это уже не наша епархия, это епархия милиции, а милиция у нас, ты знаешь, где.

— Знаю.

— Вот и хорошо, что знаешь. — Тамара Ильинична задвинула журнал в шкаф и посмотрела на неё в упор, впервые за весь разговор по-человечески. — Погоди-ка. Королёва... Это ты в аптеке на углу работаешь? Танина дочка?

— Я.

— А. — Она помолчала. — Мать у тебя была аккуратная. Я тебе так скажу: у нас в районе тридцать аптек, и в двадцать из них в тетради пишут, а в десяти не пишут вообще ничего. Твоя мать писала так, что её тетради потом сверяли как ведомость.

— Сверяли? Кто?

— Да кто угодно, кто потом деньги считает. — Тамара Ильинична махнула рукой. — У нас тут каждые пять лет комиссия, и комиссия, между прочим, всегда просит не карты, а журналы. Потому что журнал — это документ, а карта — это история болезни, и попробуй её прочти, там почерк у половины врачей как у студента.

Даша уже застёгивала сумку, когда Тамара Ильинична сказала ей в спину:

— А ты у нас, я вижу, на учёте.

Даша обернулась.

— На каком учёте?

— Да не пугайся ты. — Тамара Ильинична улыбнулась одними губами. — В двадцать первом году я тебе справку для училища подписывала. Мне тогда врач сказал: у неё отметка невролога. У тебя в карте «мигрень с аурой» написано, и не надо на меня так смотреть, я в журнал смотрю, а не в душу. Я к тому, что у нас тут про всех всё написано, и если ты в этом городе что-нибудь скажешь, то это не ты скажешь, а про тебя потом напишут.

Физиотерапия была на первом этаже, за углом, и Зоя Дмитриевна Кузьмичёва мыла там пол, потому что в одиннадцать у неё кончался приём, а в половине двенадцатого должна была прийти комиссия из области.

Ей было пятьдесят пять. Она была в синем халате поверх вязаного жилета, и у неё на поясе висела связка ключей от всех кабинетов этажа — то, что в поликлинике называют «полный доступ».

— Королёва? — сказала она, не прекращая мыть. — За тонометром пришла? Он за Игнатьевой числился, я знаю, я вам тетрадку сама приносила.

— Зоя Дмитриевна, вы получали бланки третьего сентября. Двадцать один, с тысяча сто сорокового по тысяча сто шестидесятый.

Швабра остановилась.

— Я бланки ношу, — сказала Зоя Дмитриевна. — Я их ношу с девяносто восьмого года, я их получаю под подпись и сдаю под подпись, и это единственное, что я в этой поликлинике делаю чисто, потому что за них сажают.

— Их заполняет врач.

— Их подписывает врач. — Зоя Дмитриевна прислонила швабру к батарее. — А заполняет тот, у кого руки свободны. Ты что, правда думаешь, что Христофоров Иван Иванович в свои восемьдесят шесть лет вставал ночью и писал вам рецепты?

— Он же не восемьдесят шесть, ему... — Даша запнулась, потому что посчитать оказалось нечего: она не знала, сколько лет врачу Христофорову, и поняла это впервые за шесть лет работы.

— Ему семьдесят девять, — сказала Зоя Дмитриевна. — Это последний год, когда он ещё подписывает. У него рука не своя. Он подписывает всё, что ему положат под левую руку, потому что левая у него ничего не чувствует, а правая держит ручку.

— Кто ему кладёт?

— Кто ходит. — Зоя Дмитриевна подняла швабру и опять начала мыть, сдвигаясь к окну, и от неё шёл запах спирта и хлорки, и Даша стояла и держала в руке тетрадь и слышала, как в коридоре кто-то стучит молоточком по лбу и говорит: «выдохните, не напрягайтесь».

— Я туда не хожу, — сказала Зоя Дмитриевна в спину. — У Христофорова бывают те, у кого ноги ходят. У меня ноги.

Даша шла к выходу и в дверях гардероба всё-таки спросила у неё последнее, потому что так спрашивают в провинциальном городе: не то, что надо знать, а то, о чём знают все.

— Зоя Дмитриевна, а кто из поликлиники ходит по домам с уколами?

— Из поликлиники никто, — сказала Зоя Дмитриевна. — Из поликлиники у нас на дома ходят по звонку, и записывают в журнал, и у них за это оклад. А уколы по домам у нас с восемьдесят девятого ходит одна, и она делает это сама, потому что ей бабки платят рублями, а она их кормит. Ты её знаешь. Она у вас в аптеке за бумажками стоит чаще, чем у нас в процедурном.

Дом номер девять по Советской был построен в семьдесят девятом, и лифт в нём не работал никогда, потому что его не доделали при сдаче: шахта есть, кабина есть, а пусковой не подписали.

К двери кабины была приварена железная полоса, к полосе — замок, а в шахте, если открыть решётку со двора, лежала картошка: две семьи ссыпали туда урожай, потому что в шахте не сыро и мыши туда не ходят.

Дом был пятиэтажный, в пять подъездов, и в нём жило сто восемьдесят четыре человека, что для их квартала означало: полтора.

Даша пришла туда в понедельник, с утра, с двумя делами: к Заславской — померить давление, к Палий — принести капли, которые та заказывала ещё в четверг.

И с третьим делом, про которое не говорила даже себе.

Старшей по дому была Надежда Власьевна Кулик, семьдесят один год, женщина, у которой на поясе висели ключи от подвала, от чердака и от щитка, а в руках — амбарная тетрадь в дерматиновом переплёте, купленная, судя по цене на обороте, в восемьдесят седьмом году.

Надежда Власьевна сидела на лавочке у первого подъезда, потому что с восьми до десяти она «держала дом»: смотрела, кто идёт с сумками, кто с собакой, кто пьяный, и говорила об этом вслух всем, кто готов слушать.

— Аптечная? — сказала она вместо здравствуйте. — К Заславской? Она у нас с утра не ест, у неё давление, и она от еды отказывается, но ты ей скажи: не поешь — не поедешь.

— Скажу. — Даша села на лавочку. — Надежда Власьевна, у вас тетрадь по дому?

— А как же. — Старуха открыла переплёт с гордостью, с какой не показывают ни документы, ни грамоты, потому что грамоты дают всем, а тетрадь по дому бывает у одной. — Вот подъезд первый: квартиры, кто живёт, кто одинокий, у кого телефон, у кого собака. Вот второй. Вот я писала, кто умер, у меня за тридцать лет все написаны, я никого не забыла, у меня вот здесь в уголке год стоит.

Тетрадь была устроена разумно, и Даша, которая за свои двадцать один год видела много тетрадей, поняла это сразу: слева — фамилии, справа — то, что о человеке надо знать, чтобы не потерять его из виду.

Против каждой фамилии в графе «одинокие» стояла буква «о». Против умерших — буква «в», и у неё было своё значение: «выбыл».

— А это что? — Даша показала на шесть букв «в», стоящих на пяти листах подряд, между записями за девяносто восьмой и за девяносто девятый год.

Надежда Власьевна посмотрела на страницу и вдруг стала серьёзной, как становятся серьёзными люди, у которых в голове всё повернулось на своё место, и место это — нехорошее.

— Это девяносто восьмой, — сказала она. — Шесть человек, за три недели, в одном доме. Ты, девка, слышала про такое?

— Слышала.

— Все спрашивают, и никто не верит. — Она перевернула лист своими крепкими, с коротко подстриженными ногтями пальцами. — Бабенко Полина Львовна, второй этаж, у неё ещё сестра в Миассе живёт. Дедов Степан Фёдорович, первый, у него сын в армии был тогда, а теперь в Тюмени, звонит на Пасху. Кулик — это родня мужа, Клавдия Кулик, четвёртый подъезд, первый этаж. Мазова Нина, третий подъезд. Ильина Тамара, третий подъезд, кв. шесть — она мне двоюродная. И Терентьев Иван Пахомович, он у нас в войну был на флоте, у него медали в коробке из-под конфет.

— Все шестеро в одном подъезде?

— В двух, но на первых этажах. — Надежда Власьевна посмотрела на Дашу в упор. — Ты умная, я вижу, что ты умная, ты вот на что посмотри: у нас в доме лежачих тогда было девять, и умерли именно те, которые на первых этажах. Потому что на первые этажи ходят. На пятый не ходят, у нас лифт не работает.

Даша вынула свою тетрадь.

— Надежда Власьевна, а кто к ним ходил?

— Ходила женщина. — Старуха сложила руки на тетради. — Молодая, лет тридцати, в плаще сером, с сумкой. Я её пускала в подъезд двадцать раз и ни разу не спросила фамилию, и ты меня за это не суди, потому что тогда у нас в подъезде не было ни одного здорового человека, а она ставила уколы и по ночам прибегала.

— Тогда — это в девяносто восьмом?

— И тогда, и сейчас, — сказала Надежда Власьевна. — Ты пойми: она у нас в доме двадцать лет. У Полины Львовны она обмыла мёртвую, потому что сестра из Миасса приехала только на третий день. Дедову она ноги обрабатывала, когда у него началось, я своими глазами видела, и это было хорошее дело, хорошее, ни один врач так не сделает. Она мне пальцы на ноге вырезала, когда у меня ноготь врос, а я в поликлинику не пошла, потому что мне талонов не дали.

Даша молчала, а старуха продолжала, и в её голосе не было ни страха, ни подозрения: только привычка говорить про всех по порядку.

— Она мне даже говорила: Надежда Власьевна, вы свою тетрадь не теряйте, без вас тут никто никого не найдёт. И это правильно: когда Клавдия Кулик умерла, я по своей тетради нашла пять родственников, и все приехали на девятый день, потому что я им позвонила из переговорной.

— А сейчас?

— А сейчас она ходит по тем же. — Надежда Власьевна ткнула пальцем в страницу. — У меня лежачих сейчас шесть: Заславская, Палий, две Мазуренко в третьем, Арутюнова на втором и Тимофеев на пятом. К пятому она не ходит — я её звала, она сказала: я на пятый не пойду, там некому помочь, если что. И она права, и я не знаю, что тут думать.

— Как её зовут?

— Галя. — Старуха пожала плечами. — Так все говорят. Я её спрашивала, она смеётся: а вам зачем? И верно, зачем мне: я не в собес, я дом.

Даша переписала всё: шесть фамилий девяносто восьмого года, шесть нынешних лежачих, про пятый этаж, про обмытую Полину Львовну, про вросший ноготь.

— Надежда Власьевна, а бабки вам за укол платят?

— Платят. По двести. — Старуха подумала. — Которая побогаче — по триста. А Тимофеев ей не платит ничего, потому что у него пенсия семь тысяч, и он ей отдаёт не деньгами, а картошкой из шахты, и она берёт, и не говорит ни слова, и вот это, девка, и есть настоящая хорошая работа, а вы все сидите и ждёте, когда придёт участковый.

Даша ушла к Заславской, померила давление — сто девяносто, записала, — сказала про еду, послушала про «дочку, которую я двадцать лет не видела», отдала Палий капли и её девяносто рублей сдачи и на обратном пути опять села на лавочку к Надежде Власьевне, потому что вспомнила одну вещь.

— Надежда Власьевна, а где она живёт?

— За мостом. — Старуха махнула рукой в сторону реки. — Где-то там, в пятиэтажках за лыжной базой. Я не бываю: у меня там никого.

— А вы её когда-нибудь видели без плаща?

— Видела. — Надежда Власьевна задумалась и вдруг улыбнулась, будто вспомнила смешное. — В июне, в жару. В халате. В белом халате, в каком в поликлинике ходят, с нашивкой даже, вот такой вот синей, с названием каким-то. И знаешь, что я тебе скажу? Она в этом халате по улице идёт, и я её сразу узнала, но не по лицу, а по походке: у неё походка такая, что она как будто всегда на пять минут и всегда вперёд, и сумка на весу.

Даша шла от дома номер девять к аптеке и по дороге, на середине моста, остановилась и записала в тетрадь не то, что узнала, а то, что поняла: маршрут не изменился за двадцать восемь лет.

Тот же дом. Те же первые этажи. Тот же подъезд, где не работает лифт. И женщина, которая ходит по этому маршруту так долго, что её перестали считать за кого-то, кто приходит, и начали считать за того, кто просто есть.

Она дописала внизу страницы одну строчку, потому что ей было противно от собственной логики:

«И она не убийца. Она та, к кому идут, когда плохо».

Отдел снабжения сидел в подвале аптеки, за дверью без таблички, между двумя рядами старой тары.

Даша пришла туда в четверг, в десять минут двенадцатого, когда, по её расчётам, в подвале никого не должно было быть: кладовщик уходил на оптовую базу по вторникам и четвергам, а ключ оставлял в конторе, на крючке под подвесным календарём.

Ключ висел на крючке.

Она открыла дверь тихо, хотя помешать ей никто не мог: наверху шуршали весы и звенела касса, весь дом жил своей жизнью, и в подвал не смотрел никто.

В отделе снабжения стояло два шкафа. В первом лежали накладные текущего года, подшитые по месяцам; во втором — старые бланки, ведомости за десять лет и счета за мойку окон. Того, что она искала, во втором шкафу не было: накладные сожжённого прихода сгорели вместе с журналом, это Даша знала точно.

Но она искала не накладные. Она искала серию.

В первом шкафу, в подшивке за февраль, лежали копии требований, а в требованиях, которые кладовщик переписывал от руки, серии указывались всегда: у каждого препарата их несколько, и разные серии приходят в разные месяцы с разными сроками годности.

Нужное нашлось в требовании от девятого февраля. Семь позиций, из них шесть — то, что заказывают каждую неделю. И седьмая, вписанная снизу, другим нажимом, торопливо: «Эуфиллин, амп., серия 41-027».

Даша села на перевёрнутый ящик, в подвале, где пахло пылью и уксусом, и держала в руках лист, из-за которого умер человек в постели под бордовым одеялом.

Она разложила рядом всё, что принесла. Выписку из кардиологического отделения: Митрохина Алла Сергеевна поступила десятого февраля, выписана двадцать первого, диагноз — гипертонический криз, назначение — колоть то самое, четыре раза в сутки, курс десять дней. Требование от девятого февраля — та же серия. И сводка за март: на складе по серии 41-027 списано двадцать шесть ампул, из них восемь — «по акту оказания помощи».

Восемь ампул. Восемь — это два дня курса, если колоть четыре раза в сутки.

— Я не понимаю зачем, — сказала вслух Даша, и услышала свой голос в подвале, и голос был спокойный, и это напугало её больше, чем если бы он дрожал. — Я понимаю как. Я не понимаю зачем.

Наверху звякнул колокольчик входной двери. Даша сложила листы в сумку, поставила ящик на место ровно так, как он стоял, заперла шкаф и вышла, оставив свет на лестнице, чтобы потом никто не сказал, что в подвале кто-то был.

Вечером дома она сделала то, чего не делала почти никогда: открыла шкафчик в ванной, который принадлежал матери, и вынула оттуда всё разом.

Там был флакон — стеклянный, тёмный, с полустёршейся наклейкой. Он был пустой, потому что мать держала в нём вазелиновое масло, и ещё потому, что даже пустые лекарства она не выбрасывала никогда: она выросла в такое время, когда каждая ампула считалась.

Даша подняла флакон к лампе.

Под слоем вазелина, под коричневыми пятнами старого клея, на стекле читался шрифт, оттиснутый прямо в стекле, синим.

41-027.

Маршрут она собрала за две недели, не выходя из зала, и сделала это тем единственным способом, которым в аптеке на углу можно узнать что угодно: стала спрашивать.

Не так, как спрашивают следователи, — те приходят с бумагой и молчат. Даша спрашивала так, как спрашивают за прилавком: протягивала сдачу, поправляла чек, заворачивала в бумажку свечку от давления и между делом говорила:

— Марья Егоровна, а вы тонометр когда вернёте? Вы дома одна мерите или кто приходит?

И старухи отвечали, потому что в аптеке на углу за тридцать лет привыкли, что здесь разговаривают, а не оформляют.

К третьему дню Даша знала, что на дому в их квартале лежат двадцать шесть человек, из них восемь — лежачие совсем, то есть такие, которых не поставишь даже у окна. Что уколы на дом почти никто не вызывает: вызвать медсестру из поликлиники — это две недели ожидания и талон, которого нет, а соседский укол — это рубль и благодарность. И что по домам ходит одна; её называют по-разному: где «внучка Галя», где «соцработница», где просто «девочка из аптеки».

За двадцать шесть фамилий Даша заплатила своими, потому что не бывает в этом деле иначе: кому-то она отпустила лекарство в долг и записала в тетрадь напротив фамилии «долг 214 р.», кому-то отдала свой корвалол, кому-то просто оставила чек и сказала: «Принесите, когда будет».

Карту квартала она нарисовала на обороте старой накладной: две улицы, семь переулков, дома штук восемьдесят, и на ней — кружки. Двадцать шесть кружков, восемь жирных.

Кружки стояли вдоль одного и того же изгиба: Советская, потом вниз к реке, потом переулок, потом опять Советская.

Дом с неработающим лифтом был в этом изгибе четвёртым.

На девятый день Даша взяла в аптеке один из трёх тонометров, сказала отчиму, что идёт к лежачим по заявкам, и пошла на Советскую.

Евдокия Порфирьевна Заславская, восемьдесят два года, лежала в комнате, где на телевизоре стоял вырезанный из «Огонька» портрет, а под телевизором — банка из-под майонеза.

— Дарьюшка, — сказала она обрадованно. — Ты кровь мне мерить?

— Давление.

— Это ты хорошо. — Она подняла руку и дала надеть манжету, как дают её люди, лежащие годами: без неловкости, привычно. — Двести было утром. Не помню, когда мерила. Число забываю, а давление помню.

Давление было сто восемьдесят на сто. Даша записала в свой блокнот: дата, фамилия, цифры — и по этой привычке, не подумав, посмотрела на подоконник.

В банке из-под майонеза лежали ампулы.

Их было, на глаз, штук восемь: бесцветные, в тонком стекле, с наклейками, от которых в майонезной банке осталась половинка.

Даша знала, что там написано, ещё до того, как взять банку в руки, и всё равно взяла.

— Евдокия Порфирьевна, это откуда?

— Девочка принесла. — Старуха завозилась, поправляя одеяло, и в этом движении не было ни страха, ни вины, вообще ничего, кроме обычной беды, которая всегда рядом и всегда в порядке. — Она поставила и сказала: чтобы под рукой было, я на два дня положу, потом заберу.

— Какая девочка?

— Ну эта. — Евдокия Порфирьевна посмотрела на Дашу как на человека, который спрашивает, как зовут его собственную мать. — Внучка моя, Танька... — она задумалась, — нет, не Танька. Галька. Она от Таньки и ходит, у неё сумка такая, и она всё говорит: не разговаривай, а то меня задержит.

— Что она вам колола?

# Кто колет

— Капельницу не ставила, а колола... — старуха повела рукой, показывая на сгиб локтя, — вот сюда, вот сюда и вот сюда. Три раза. Потом два дня не приходила, потом опять пришла. У меня, Дарьюшка, до этого ноги сводило, а как она стала ходить, ноги не сводит.

Даша сидела на табуретке, и это было то самое место в её жизни, где она всегда боялась оказаться: когда человек в постели, у которого твоя работа — единственная связь с миром, отчитывается тебе как врачу.

— Евдокия Порфирьевна, а записи она какие-нибудь оставляла? Бумажку?

— Бумажки у меня. — Старуха с гордостью кивнула на тумбочку. — Я всё пишу, мать велела. Вот тетрадь, вот платёжки, вот я деньги за свет, вот тут она писала.

Тетрадка была амбарная, в серой картонной обложке, разделённая пополам. На левой половине рукой Евдокии Порфирьевны, крупно, с нажимом: «январ. хлеб 34. Галька укол 200. свет 412. капли 96».

А на правой половине, в самом низу, другой рукой, мелко, с наклоном, был написан телефон — и в этом телефоне, внутри цифры, стояла лишняя запятая.

Даша смотрела на неё так, как смотрят на знакомое лицо в чужом городе.

Телефон был тот же самый: две четырнадцать — ноль восемь. Аптека на углу Базарной и Советской.

— Она откуда звонить ходила? — спросила Даша глухо.

— Откуда ж я знаю. — Евдокия Порфирьевна засмеялась, покашливая. — Она мне сюда не звонила, у меня телефона двадцать лет нет.

Даша вынула из банки одну ампулу и поднесла её к окну.

Наклейка была стёрта, бумага по краям поднялась от сырости, но заводское тиснение на стекле читалось: те же цифры синим, вдавленные прямо в стекло, как номер на ложке.

41-027.

Дома, вечером, она достала тетрадь и села считать, потому что считать она умела лучше всего.

Двадцать шесть ампул — это то, что было на складе по этой серии. Восемь из них ушли «по акту оказания помощи» в феврале. Ампулы из банки Заславской были из того же ящика, потому что в аптеке на углу ящик был один, и серия была одна, и другой в этом городе не было ни у кого, потому что льготный «Эуфиллин» в районе брала только их аптека.

Она посчитала в столбик: восемь лежачих. Восемь домов. И в каждом — курс.

Двадцать шесть ампул — это три с половиной курса. Курс — это десять дней по четыре раза. Восемь домов и три с половиной курса не сходились между собой никак, и Даша считала до половины второго ночи, и всё равно не сходилось, и тогда она поняла то, что оказалось проще всей арифметики: ампулы берут не из склада. Ампулы берут из одной сумки. Сумку носят по кругу, от одного лежачего к другому, потому что так распоряжено, и потому что в этой стране лечение давно живёт не на складе, а в сумке.

Утром она убрала в пакет упаковку от ампул, которую вынула из мусорного ведра под окном Заславской, — четыре пустые ячейки из десяти, — и записала в тетрадь: «Советская, д. 9, Заславская, 82 г., банка, упаковка, 4 шт.».

Потом переписала на отдельный лист: «Восемь лежачих. Курс — четыре в сутки, десять дней. В аптеке — серия 41-027, остаток 18 ампул».

Восемнадцать ампул. Если считать по-честному, по инструкции, восемнадцать ампул — это ровно один курс и ещё восемь уколов, и она не знала, что страшнее: что их не хватит или что хватит.

Христофоров Иван Иванович жил на Первомайской, в двухэтажном доме сталинской постройки, в квартире на первом этаже: на второй он уже не поднимался с ноября, а первый этаж выбрал в восемьдесят девятом, когда ему было сорок два и он ещё бегал на лыжах.

Даша пришла к нему с ящиком, в котором было то, что аптека на углу носила ему по заявке: пузырёк капель, упаковка таблеток, ампулы для сиделки и два рулона пелёнок, которые в аптеке держали именно для таких случаев и за которые он платил по счёту, потому что был из тех стариков, для которых «по счёту» — это не гордость, а порядок.

Дверь открыла сиделка, Раиса Степановна, женщина пятидесяти восьми лет в синем фартуке с карманом, полным бумажных салфеток.

— Аптечные? — сказала она. — Проходи, только углы не задевай, у него ковёр.

В комнате было темно, потому что шторы были задёрнуты, и пахло не лекарствами, а тем сухим, тёплым запахом, который бывает в доме, где человек лежит давно: стираным бельём, кашей и немного валерьянкой.

Христофоров лежал на высокой кровати, подушка была прилажена так, чтобы он видел телевизор, а на одеяле лежала правая рука — единственная, которая его слушалась. Голова была повёрнута вбок, левый угол рта обвис, но глаза были ясные, внимательные, злые от беспомощности.

— Королёва, — сказал он. Слова вышли медленно, с усилием, будто он тащил их из колодца по одному. — Танькина. Ты... зачем?

— Лекарства привезла, Иван Иванович. И поговорить.

— Говорить я могу. — Он чуть повёл правой рукой. — Я говорю. Только медленно. Ты потерпишь?

— Потерплю.

Раиса Степановна поставила ящик, ушла на кухню и там начала греметь кастрюлями, и в этом грохоте было что-то успокаивающее: дом жил, как жил двадцать лет, и болезнь в нём ничего не поменяла, кроме того, что хозяин перестал выходить.

Даша села на стул у кровати.

— Иван Иванович, я принесла рецепты. Пять. На них ваша подпись.

Она выложила их на одеяло, одну за другой, потому что складывала их в тетрадь в том порядке, в котором их приносили, и теперь держала этот порядок, как держат в руках колоду.

Он смотрел на них долго, поворачивая голову, а потом сделал то, чего Даша не ждала: попросил поднести ближе и поднести к свету.

— Это моя, — сказал он про первую. — Подпись моя. — Он помолчал, шевеля губами, как шевелят, когда читают про себя. — А это не я.

— Как?

— Не я, — повторил он с раздражением, и раздражение у него получилось внятно, в отличие от остальных слов. — У меня рука... У меня тридцать лет не было в бланке строчки «сорок капель, курс шесть месяцев». Дай мне карандаш.

Дальше он делал это минуты три, и Даша все три минуты держала в руках линейку, потому что без линейки он не мог писать ровно, а писать криво не умел.

Он вывел на обороте старого бланка, крупно, придавливая карандаш, как первоклассник:

«Корвалол и капли от давления не назначают курсом в шесть месяцев. Это не лечение, это отписка. Я так не пишу с 1986 года. Кто это написал — тот не врач».

— Понятно? — Он откинулся на подушку и тяжело задышал. — Меня учили... меня в шестьдесят восьмом году учили, что рецепт — это не бумага для отчётности, а поручение. Я тебе, деточка, одно скажу: тот, кто это написал, переписывал. Он видел рецепт и переписал. Он не понимает, что значит «курс шесть месяцев». Он понимает, что «шесть» — это число.

Даша сидела и слушала, как у неё в груди что-то опускается вниз.

— Иван Иванович, вы их подписывали?

— Подписывал, — сказал он без всякой паузы, и это была самая честная секунда всего разговора. — Я всё подписываю. Мне кладут вот сюда. — Он пошевелил левой рукой в одеяле. — Под левую руку. У меня левая не чувствует, а правая держит. Мне кладут стопку, и говорят: Иван Иванович, людям надо, они без этого не доживут до весны.

— Кто кладёт?

— Приходят. — Он закрыл глаза. — Раиса, скажи ей.

Раиса Степановна ответила из кухни, не переставая греметь:

— Приходят разные. Ходит из поликлиники Зойка, бумаги носит, у неё под это дело должности нет, а есть санитарка. Ходит из собеса женщина, справки. Ходит аптека — ты ходишь. Ходит она.

— Какая она?

— Та, что колет. — Раиса Степановна появилась в дверях с полотенцем. — Наталья. Хорошая женщина, я тебе про неё плохого не скажу: она нам с августа приносит молоко, потому что у Ивана Ивановича язва и ему нельзя жирное, а молоко в магазине два раза в неделю. Она приходит раз в десять дней, кладёт ему на тумбочку стопку — он подписывает, она забирает, — и меряет ему давление. Если у него верхнее выше ста восьмидесяти, она мне звонит в любое время. Ты хоть одну медсестру в этом городе знаешь, которая звонит в любое время?

— А что она подкладывает?

— Что надо, то и подкладывает, — сказала Раиса Степановна. — Ты пойми: у него льгота, у него рецепт — это тридцать рублей, а лекарство — это тысяча. Кто-то же должен рецепты возить, а у него ноги отнялись.

Даша посмотрела на тумбочку у кровати.

На тумбочке лежала стопка бланков. Тех самых: с зелёной сеткой, с номером в углу, бланков для льготных рецептов, из книжки строгой отчётности.

Она была толщиной в палец.

— Иван Иванович, — сказала Даша. — У вас на тумбочке бланки. Они у вас откуда?

— Мои, — сказал он ворчливо. — Я в двухтысячном получил... я их получил, когда частную практику держал. Две книжки. Они мне не нужны, я не выбрасываю: у меня в войну... у меня мать не выбрасывала бумагу, потому что бумага — это было дороже хлеба.

Даша взяла стопку и перелистала её.

Это были чистые бланки, все подряд, с номерами, отпечатанными типографским способом, и они были из книжки, которая числилась у него на руках с двухтысячного года.

Двадцать лет лежащая на тумбочке книжка бланков — это в аптеке, где бланк идёт в подшивку и в отчёт, назвали бы недостачей, преступлением, чем угодно.

А в этой комнате это было просто бумагой, которую не выбрасывают, потому что не выбрасывают.

— Вы по ним писали?

— Я по ним писал, — сказал Христофоров. — Я ими платил за то, что мне давали. Ты не понимаешь. Ты молоденькая. Тебе кажется, что мир держится на правилах, а он держится на том, что у нас в районе триста бабок и один врач, и если я не напишу — не напишет никто, и они умрут не от болезни, а от бумаги.

Он повернул голову и посмотрел на Дашу внимательно, как смотрят с высоты.

— Ты Танькина дочь, — сказал он. — Я её помню. Она тоже пришла один раз и сказала: Иван Иванович, у нас в аптеке бланки, которые вы подписываете, заполнены не вашей рукой. Я ей тогда сказал: Таня, у меня свои руки, я сам решу. И она больше не приходила, а через год умерла.

Даша сидела не двигаясь.

— Мама умерла не из-за этого, — сказала она тихо.

— Не из-за этого, — согласился он. — Люди умирают не из-за этого. Люди умирают, а потом оказывается вот это. — Он постучал пальцем по одеялу. — Ты лучше скажи: голова?

— Что голова?

— У тебя в карте: мигрень, аура. — Он произнёс это медленно, но без запинки, будто по памяти читал анализ. — Ты в зале свет гасишь, как мать. Я твою мать двадцать лет видел и знаю, зачем гасят верхний свет.

— И зачем?

— Затем, что тогда люди не становятся ни маленькими, ни большими, потому что от лампы в глазах начинается пляска. — Он вздохнул, и вздох получился длинный, сиплый. — Я тебе скажу то, что твоей матери сказать не успел. Держись за бумагу. Зрение — вещь ненадёжная, а подпись — вещь крепкая. У нас в этом городе никого не посадили по глазам. Всех посадили по подписи. И всех спасли по подписи.

— Иван Иванович, напишите мне это на бумаге.

Он понял сразу.

— Ты пришла не за лекарствами, — сказал он. — Ты пришла за подписью.

— Да.

Раиса Степановна вышла и закрыла за собой дверь, и Даша услышала, как она в коридоре включила телевизор на полной громкости, чтобы в квартире было громко, потому что все разговоры, которые ей не надо было слышать за двадцать лет работы, она не слышала именно так.

Христофоров думал минуты две. Потом сказал:

— Диктуй, что писать. Только медленно.

Даша вынула тетрадь и продиктовала, как диктуют рецепт: «Обясн. Христофорова И. И., 1947 г. р., врача...» — он остановил её на «объяснительной», и получилось так:

«Рецепты на бланках 1140–1160 заполнены не мной. Подпись моя. В ноябре перенёс инсульт, левая сторона не работает, пишу правой. Кто оформлял текст — не знаю. Я подписываю бумаги, которые мне приносят на дом по льготным больным».

Он подписал. Почерк был крупный, буквы дрожали в начале строки и выравнивались к концу — так пишут люди, у которых устаёт рука в первые секунды и потом работает по инерции.

Даша сложила листок вдвое и убрала в тетрадь.

— Иван Иванович, а вы понимаете, что будет?

— Понимаю. — Он закрыл глаза. — Меня позовут, а я не дойду. Меня от меня избавят заочно: я тридцать лет подписывал всё, что мне приносили. Меня за это не посадят, деточка. Меня за это похоронят.

Он помолчал и добавил совсем тихо, уже без всякого выражения, будто говорил не про себя, а про казённую бумагу:

— Врач, который подписывает, не читая, — это не врач. Это печать. Но печать ставят на то, что уже написали, а написали не мы.

Даша уже была в дверях, когда он окликнул её, и это «Королёва!» получилось у него громко.

— Ты в конце месяца зайдёшь? — сказал он. — Не с бумагами. Просто зайдёшь. Я тебе расскажу, как в шестьдесят восьмом году у нас в области одну медсестру посадили за то, что она перепутала концентрацию. Её судили, а мужики, которые в тот год на спирту выбивали её расчёт, — нет.

— Хорошо, — сказала Даша. — Зайду.

— Заходи, — сказал Христофоров и отвернулся к телевизору, где как раз шла реклама подгузников.

В прихожей Раиса Степановна подала ей пустую сумку из-под ящика и сказала неожиданно зло:

— Ты не первая, кто тут про бумаги спрашивает. У него с зимы были: одна из области, которая ничего не писала, а только смотрела; одна из страховой, которая фотографировала карту; и она.

— Что она?

— Пришла и давай порядок наводить. — Раиса Степановна сложила руки на фартуке. — Тумбочку разобрала, бумаги в папку сложила, мусор вынесла, давление померила, ему пятки обработала и говорит: Иван Иванович, спите. И знаешь, что я тебе скажу? Я в сиделках двадцать лет, а у него — с ноября, как из больницы привезли. Так вот: он после неё спал. Он при мне так не спит. Я его ночью по два раза поднимаю, а он при ней спит.

Даша вышла на улицу, где было серо и тепло и пахло оттепелью, и постояла на крыльце.

У неё в сумке лежала подписанная объяснительная, за которой она шла три месяца, и она держала её двумя пальцами через ткань.

И всё, что она могла сейчас сказать про ту, кого искала, было одно, и это было хуже всего остального: что у неё нет ни одного человека, который мог бы про неё сказать — она уколы ставит, она обрабатывает пятки, она обмывает мёртвых, она приносит молоко, потому что у него язва.

Потому что таких людей в этом городе не считают за подозреваемых. Их считают за тех, кто есть.

Отчим сидел в зале за кассой и считал выручку — так, как он её считал всегда: вслух, по купюрам, откладывая десятки налево, а сотни направо, будто в этом был какой-то порядок, кроме привычки.

Даша поставила флакон перед ним на прилавок.

Аркадий Петрович посмотрел на него, потом на неё, и его руки продолжали двигаться ещё секунды две — по инерции, потому что тело не сразу понимает, что пришла беда.

— Где ты его взяла? — спросил он.

— В нашей ванной. В мамином шкафчике. Он стоял там, наверное, лет пять, я его тысячу раз видела и ни разу не прочитала, что на стекле.

— Это её флакон, — сказал отчим. — Она держала в нём масло.

— Я знаю, что она держала в нём масло. Я не знаю, откуда он.

— Из аптеки, Даша. Мы аптека.

— В этой партии двадцать шесть ампул, — сказала Даша. — Из них восемь списано по акту. И это февраль, отчим, февраль этого года. Мама умерла пять лет назад. Откуда у неё флакон, который пришёл к нам в феврале?

Аркадий Петрович положил пачку денег и не стал их пересчитывать.

— Таких флаконов у нас было три, — сказал он тихо. — Слушай меня внимательно, потому что я это расскажу один раз. Стекло у «Эуфиллина» одинаковое, серию выдавливают на стекле, и серии повторяются: у завода цикл. Сорок один — это не номер партии, это номер линии, а ноль двадцать семь — месяц и день. Двенадцатый... — он задумался, шевеля губами, — двадцать седьмое января. Она принесла их домой в девяносто восьмом, три штуки, потому что ей было жалко выбрасывать, всё было жалко. Она у нас тогда работала вторым человеком, у Христофорова уже не работала, работала у прежнего хозяина, вот с этого прилавка.

— И что было в девяносто восьмом?

— В девяносто восьмом, — сказал отчим, — в городе умерли шесть стариков. Одного за другим, за три недели. Я тогда только взял аптеку, я был никто, и я об этом узнал через год, из разговора, а не из бумаг.

Даша ушла в подсобку, где стоял шкаф с маминими вещами, которые никто не разбирал: два платья, туфли, сумка и папка. Папка была внутри сумки.

В папке лежала общая тетрадь в клеёнчатой обложке, и Даша узнала её сразу, потому что в такой же она вела отпуск, только у мамы была зелёная.

Первые страницы — работа: смены, заявки, кто болеет. Дальше — рецепты, переписанные от руки, столбиком, с указанием фамилии, даты и серии. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

И в каждом из них, в самой середине слова, стояла лишняя запятая: не после слова, а внутри, между двумя согласными.

Даша закрыла тетрадь, потом открыла снова. Она искала в ней не запятые, она искала список. Список был на предпоследней странице: пять фамилий, пять улиц, написанные ровным мелким почерком, а под ними — одна фраза, выведенная с нажимом, так что бумага продавилась насквозь:

«Этим — не отпускать».

Вечером в пятницу, когда в зале уже были закрыты жалюзи и повешен замок, Даша спустилась в подвал с двумя листами.

В подвале горела одна лампа на шнуре, и отчим сидел на ящике перед печкой — железной, чёрной, с дверцей, которая закрывалась на крючок, — и в ней горело.

Он не прятал этого от неё никогда. Это было первое, что Даша про него поняла за шесть лет работы: он жёг бумаги, как жгут мусор, то есть не как человек, который заметает следы, а как человек, который устал.

— Закрой дверь, — сказал он, не оборачиваясь. — Тянет.

Она села на перевёрнутый ящик напротив и положила листы на колени.

— Аркадий Петрович, я сняла копии с трёх накладных. До того, как вы их сожгли.

Он посмотрел на неё, потом на листы, и Даша заметила, как у него дёрнулась щека — не от страха, а от того, что человек в этот момент понимает, что придётся объяснять вслух то, что шесть лет объяснялось только цифрами.

— И что там написано? — спросил он.

— Восьмое марта: «Лидокаин 2 %, амп., 200 шт.». Оптовая база — не наша, а частник с Кудымкара. Двадцать первое марта: «Анальгин, амп., 300 шт.». Третье апреля: «Эуфиллин, амп., 30 шт.». Итого на двести шестьдесят одну тысячу.

— Двести шестьдесят тысяч двести сорок, — сказал отчим машинально, потому что человек, который считает, считает всегда.

— Плюс то, что сгорело в июне.

— Плюс то, что сгорело в июне.

Он наклонился, взял кочергу, поворошил в печке, и оттуда вылетела бумажная искра и погасла на полу.

— Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал про долги, — сказал он. — Я тебе расскажу, потому что ты всё равно узнаешь, а если узнаешь не от меня, то решишь, что я вор.

— Я так не решу.

— Решишь. — Он усмехнулся. — Все решают. У нас в городе как думают: аптека на углу, ай, прекрасно живут, у них касса. А в кассе — восемь тысяч в день, из них четыре сразу в оптовую базу, потому что я в базу должен, а база теперь требует предоплату, потому что у меня долг. Две тысячи — зарплаты, у нас четыре человека, из них я один, кто не получает ничего. Тысяча — аренда, потому что у меня не собственность, а договор с человеком из области. Остаётся — тысяча, из неё налоги, из неё свет, из неё замок на дверь, из неё то, что в зале у нас всегда в наличии корвалол, потому что если корвалола нет, то мне завтра же напишут, что мы не аптека, а ларёк.

— А льготные?

# Запятая в середине слова

— А льготные — это отдельная история, и это, деточка, твоя тема, потому что льготные рецепты отпускаешь ты. — Отчим выпрямился. — Ты знаешь, когда область платит по льготным бланкам? Через сорок дней. Через сорок! Я отпускаю лекарство сегодня, а деньги получаю в конце следующего месяца, и всё это время я — фактически кредитор бюджета. И если я не буду крутиться, я не доживу до сорокового дня.

— И ты крутишься.

— Я кручусь. — Он кивнул на печку. — Я кручусь так: покупаю у частника дешевле, чем в базе, потому что у него нет накладных, нет НДС и нет совести, и продаю это по льготному бланку по цене, которую мне компенсирует область.

— То есть ты продаёшь государству чужую ампулу по государственной цене.

— Я закрываю дыру, — сказал отчим без всякого выражения. — Не ворую у людей. У людей у нас в районе денег нет, у них пенсия и корвалол. Я ворую у системы, которая позволяет себе платить через сорок дней.

Даша посмотрела на листы.

— Аркадий Петрович, в тетради отпуска за ноябрь есть рецепт на тебя. Капли от давления, курс шесть месяцев, подпись Христофорова. Ты их никогда не пил, ты их не заказывал, и на бланке стоит зелёная сетка.

— Стоит, — сказал он.

— Зачем?

— Затем, что льготный бланк — это единственная бумага, по которой через кассу проходит лекарство, купленное у частника. — Он сказал это как человек, который говорит очевидное и в сотый раз. — Мне нужен был рецепт, а его выписывают на человека. Я самый доступный человек в этой аптеке. Ты думаешь, я один такой? Позвони в любую аптеку в области: у них у всех есть один рецепт на директора.

— И лишняя запятая в нём — тоже.

Отчим не понял.

— Какая запятая?

— В середине слова. — Даша вынула из тетради бланк. — Вот. В рецепте на меня бы такую поставила только та, кто переписывала чужой текст.

Он взял лист, поднёс к лампе, посмотрел и вернул.

— Не знаю, — сказал он. — Я не рассматривал. Мне их дают готовыми, я подписываю и отправляю в область.

— Кто даёт?

— Приносят. Из поликлиники ходит Кузьмичёва, она сдаёт бланки. Из собеса ходит женщина.

— А колет кто?

— Колет Наташка, — сказал отчим спокойно. — Из поликлиники. Ты её знаешь, она двадцать лет у нас покупает корвалол для стариков и берёт по три блистера.

Даша сидела и смотрела в огонь, и в этот момент она почувствовала то самое, от чего потом всю неделю не спала: что в этой истории нет ни одного человека, который делал бы что-то неверное, и все они вместе делали то, от чего умерли пятеро.

— Аркадий Петрович, в конце февраля в аптеке списали двадцать шесть ампул «Эуфиллина». Восемь — по акту оказания помощи, а остальные — просто так.

— Их списали в марте, — сказал отчим. — Это я подписал.

— Ты знал, что в этой серии двойная концентрация?

— Откуда я знал? — Он впервые за вечер повысил голос. — Я подписал акт на количество, а не на концентрацию. Мне принесли сводку, я посмотрел остаток, я подписал. Я подписываю сорок бумаг в неделю, Даша, я тебе одну вещь объясню, и ты её запомни: ни один владелец в этом городе не читает ночную сводку. Не читает, потому что там сто строк, и потому что если читать, то работать нельзя.

— А мама?

Он замолчал, и в подвале стало слышно, как в печке осыпаются листы.

— Твоя мать, — сказал он наконец, — твоя мать говорила мне: Аркадий, если ты будешь жечь бумаги, однажды ты сожжёшь то, чего нельзя. Мы тогда с ней первый год были. Я её не послушал, потому что я был уверен, что если правильно вести тетрадь, то бумаги можно жечь: тетрадь всё помнит.

— И?

— И потом она умерла. — Он сказал это ровно, как говорят про то, что уже стёрлось в камень. — И я остался с тетрадью и с печкой.

Даша положила листы в сумку, но три накладные, которые ещё лежали в её тетради, — те, что она вытащила из печки кочергой в июне, — она не отдала ему, потому что уже знала: их не сожгут, пока она в этом доме.

— Аркадий Петрович, я ничего не буду делать без вас, — сказала она. — Но и вы бумаги больше не жгите. Хотя бы эту пачку.

Он посмотрел на неё долго и вдруг сказал то, чего она не ожидала услышать ни от него, ни от кого в этом городе:

— Знаешь, что самое смешное? Я тоже в своё время был вторым человеком. У прежнего хозяина. И я тоже три года сверял, и у меня тоже была твоя тетрадь. А потом я стал хозяином и понял, что второму человеку легко: он сверяет бумаги. А хозяин должен их подписывать, и целое никогда не сходится — сходится только количество.

Он встал, вытер руки о колени, поднял с пола упавший уголёк и бросил его в печку, потому что в этом доме никогда ничего не оставляли на полу.

— Иди спать, — сказал он. — В понедельник инвентаризация, у нас минус по ампулам, я укажу тебя, потому что ты вторым человеком.

— Указывайте, — сказала Даша.

Она поднялась по лестнице, где пахло не дымом, а уксусом, и в этот вечер в аптеке на углу, за выключенной кассой и выключенным светом, стояли двое людей, которые не сказали друг другу ни одного лишнего слова, и разошлись по домам, и оба знали, что с этой пятницы дальше будет хуже.

Тетради отпуска в аптеке на углу никто не выбрасывал, и это было не сентиментальностью, а привычкой: по ним можно было ответить на любой вопрос, который задают раз в пять лет, — кому, когда, сколько, по чьей подписи.

Они стояли в подсобке, в нижнем шкафу, под коробками с бандажами: общие тетради в коленкоровых обложках, по одной на год, с корешками, обмотанными скотчем, потому что корешок у такой тетради — самое слабое место, а рука у человека сильная.

Даша достала их все в субботу, когда в зале сидела на смене Наташа Спиридоновна, женщина, которая работала в аптеке с девяносто девятого и у которой Даша сроду не спрашивала ни о чём, потому что Наташа Спиридоновна отвечала на всё сама, не дожидаясь вопроса.

Она выложила тетради на кушетку в ряд, от последнего года к первому, и получилось семь штук — семь лет, с того лета, когда вторым человеком стала она сама.

А под ними, в самом низу шкафа, лежали ещё пять, и это были мамины.

Даша узнала их по цвету: обложки были зелёные, выгоревшие с одного бока, потому что десять лет пролежали под прилавком, у окна.

Она села на пол, потому что с пола было удобнее: тетрадей было много, а стол в подсобке — маленький, и все, кто тут работал, знали, что настоящие бумаги читают на полу.

Мамина тетрадь за две тысячи шестнадцатый год открывалась записью от третьего января: «Отпущено по льготным: 6». Дальше шли смены, заявки, кто болеет, у кого кончилось, — всё так, как Даша вела сама, только почерк был плотнее и наклон был сильнее.

И в записях стояли метки.

Даша нашла их на четвёртой странице: лишняя запятая, поставленная внутри слова, между двумя согласными, — та самая, из-за которой в училище с неё однажды сняли балл за аккуратность, потому что в тетради отпуска запятая внутри слова — это не описка, а неуважение к документу.

Она стала искать дальше.

Метки были на тех записях, где стояло: «Отпущено по рецепту Христофорова». И стояли они не подряд, а выборочно: не на каждом, а на некоторых, и Даша сначала решила, что мать помечала то, где была ошибка в дозировке.

Она проверила три записи подряд.

«Христофоров И. И. Корвалол. сорок капель, курс шесть месяцев» — с меткой. «Христофоров И. И. Корвалол. тридцать капель, курс три месяца» — без метки. «Христофоров И. И. Капли от давления. сорок капель, курс шесть месяцев» — с меткой.

Дело было не в дозировке.

Дело было в тексте. Все записи с меткой были переписаны в тетрадь, а в самой графе стояла форма рецепта, которой у Христофорова не бывает: Даша это знала теперь не от старух, а от него самого, от его карандаша и линейки на одеяле, — сорок капель и шесть месяцев.

Она отложила первую тетрадь и взяла следующую.

В семнадцатом году меток было шесть. В восемнадцатом — девять.

В девятнадцатом — восемнадцать.

Даша сидела на полу и считала, а вокруг стояла подсобка с кушеткой, с ящиками, с коробками бандажей, и за стеной в зале Наташа Спиридоновна говорила с покупателем про то, что корвалол подорожал на восемь рублей, и это был тот ровный, обычный, спокойный звук аптеки, по которому она всегда узнавала, что всё в порядке.

Восемнадцать меток в девятнадцатом году — это не ошибки. Это система.

В двадцатом — двадцать две.

В двадцать первом — и Даша поняла, что смотрит на страницы, написанные за месяцы до того, как её мать умерла, — было двадцать шесть, и последняя метка стояла в записи от четвёртого сентября, а мать умерла в конце октября.

Двадцать шесть меток за девять месяцев. Больше двух в неделю.

Даша отложила мамину тетрадь и взяла свою первую.

В ней, за двадцать второй год, меток не было.

Она перелистала всю, до конца, где почерк уже был её собственный, ровный, аккуратный, детский ещё, с косой строкой, — и не нашла ни одной.

За двадцать третий — тоже ни одной. За двадцать четвёртый — ни одной.

А в двадцать пятом, в августе, метка была.

Даша нашла её на девятой странице и узнала сразу, как узнают чужой шаг в собственном коридоре: маленькая запятая, поставленная внутри слова, там, где её поставит только тот, кто переписывает, а не тот, кто пишет.

И дальше, до самого февраля, они шли одна за другой: сентябрь — две, октябрь — три, ноябрь — четыре, декабрь — две, январь — четыре, февраль — пять.

Пятеро стариков. Пять рецептов. Пять запятых.

Даша сидела на полу, вокруг неё лежали двенадцать тетрадей, и было слышно, как в зале закрылась входная дверь.

Она взяла ручку и на обороте старой накладной стала считать по-настоящему, как считают остаток в конце смены:

двадцать шесть меток в мамином девятнадцатом году;

двадцать две в двадцатом;

двадцать шесть в двадцать первом, за девять месяцев до смерти;

потом — четыре года пустоты, потому что метки ставила мать, а мать умерла, и ставить их стало некому, кроме той, кто переписывала.

А потом — восемь, пять, шесть. И пять рецептов, из-за которых умерли пятеро.

Про мёртвых она в этот вечер не думала. Она думала про двадцать шесть последних меток своей матери, потому что это было у неё в руках впервые за три месяца, и это был не след убийцы, а след человека, который три года подряд ловил переписчика и держал пометки в тетради отпуска, потому что в этом городе правду держат в тетради.

Мать знала.

Мать не могла пойти в милицию, потому что у неё в руках была не подпись, а запятая, и потому что в этом городе запятая внутри слова — это аккуратность, а не улика.

Она сделала единственное, что в таких случаях делают: она стала помечать каждую бумагу, чтобы видеть, сколько их и куда они идут.

И она умерла, не успев сделать ничего больше.

Даша встала с пола, собрала тетради, сложила их в шкаф ровно так, как они лежали, — мамины внизу, свои сверху, — и пошла в подсобку, где стоял второй шкаф, тот, в котором за шесть лет не разбирали мамины вещи.

Она открыла его и вынула папку, которую уже один раз держала в руках.

Тетрадь в ней была та же, зелёная, с клеёнчатой обложкой, и Даша, теперь уже зная, что искать, села и стала читать её не с начала, а с конца.

Предпоследняя страница: пять фамилий, пять улиц, ровным мелким почерком, и внизу — «Этим — не отпускать», продавленное насквозь.

Но теперь она смотрела не на фразу, а на то, как записаны фамилии. Против каждой фамилии стояла ещё одна метка, справа, у самого края страницы: маленькая, короткая, как галочка, и Даша, которая два часа считала такие же метки в тетрадях отпуска, знала, что каждая из них означает одно и то же.

Каждая из них означала: этот рецепт принесён не тем человеком.

Она сидела над этим до половины второго ночи и не придумала ни одной другой версии. Все пять фамилий в мамином списке были фамилиями людей, которым лекарство приносили. И мать, значит, не просила их не отпускать.

Мать просила: «этим — не отпускать», то есть «этим — не давать того, что им носят».

В зале зазвонил телефон, и Даша вздрогнула, потому что в половине второго в аптеку не звонят. Она пошла, взяла трубку, и в трубке был шум и дыхание, и ничего больше, и она стояла с трубкой в руке, глядя на своё отражение в тёмном стекле витрины, пока на том конце не положили.

Утром она пришла на смену раньше всех, и Наташа Спиридоновна сказала ей:

— Дарья, ты чего белая? Давление?

— Давление, — сказала Даша.

И это было правдой: давление в этот день встало у неё в горле, как бывает у людей, которые уже знают то, что должны, и не могут ещё ничего с этим сделать.

За мостом, за лыжной базой, стояли пятиэтажки девяностых — серые, с балконами, заложенными кирпичом, — и в них жила половина тех, кто в этом городе работал руками: водители, слесаря, медсёстры.

Дом Натальи Григорьевны был третьим от базы, подъезд второй, квартира двадцать восемь, на четвёртом этаже, и Даша поднималась по лестнице, на которой пахло котом и жаре-

ной картошкой, и держалась за перила, потому что перила тут были деревянные и в них была вбита тысяча гвоздей.

Она придумала повод: принести корвалол, который Наташа двадцать лет покупала у них по три блистера, и сказать, что принесла на дом, потому что она всё равно шла мимо.

Врать в этом городе можно было только так: мимоходом.

Дверь открыла тётя Наташа — Наталья Григорьевна Ляпина — в домашнем халате, сером, с оттянутыми карманами, с полотенцем на плече, и у неё были мокрые руки.

— Дарья? — сказала она. — Ты что, ты чего? Что-то с аптекой?

— Всё хорошо. — Даша подняла пакет. — Корвалол ваш. Вы в четверг заказывали, я знаю, что вам некогда.

— Некогда, — согласилась Наташа и посторонилась. — Заходи. Только у меня не прибрано.

В квартире было чисто до блеска и бедно до последней вещи: две комнаты, в зале диван, телевизор, сервант с посудой, в которой никто не ест, на стене ковёр, на ковре — фотография мужчины в военной форме, на подоконнике — три банки с солёными огурцами, поставленные с осени.

У телевизора на полу стояла сумка.

Даша узнала бы её даже в темноте: большая, чёрная, с длинными ручками, из тех, в которых носят инструмент, с застёжкой на молнию, и она стояла на полу так, как ставят вещи, которые берут каждый день.

— Чай будешь? — спросила Наташа, поставив корвалол на стол.

— Буду.

Она наливала воду, резала хлеб, ставила конфеты, и всё это она делала быстро, собранно, без суеты, и Даша, глядя на неё, впервые увидела то, чего не видела за шесть лет: что ей не пятьдесят.

Ей было шестьдесят три.

Между тем, как она складывала бланки в аптеке и как она смеялась, стоя у прилавка, и тем, как она сейчас, дома, ставила на стол чашку, лежала разница, которую замечаешь только на чужой кухне: дома у неё лицо было усталое и злое.

— Ну, рассказывай, — сказала Наташа, садясь напротив. — Ты не за корвалолом пришла.

— За корвалолом.

— Ты его в аптеке выдала бы, мне Спиридоновна отдала бы. — Наташа подула на чай. — Ты пришла смотреть. Ты с прошлой недели ходишь по домам, я знаю: мне утром Мазуренко сказала, что «аптечная девочка» приходила и всё про уколы спрашивала. А к Палий ты заходила дважды.

Даша не стала отпираться, потому что отпираться было противно.

— Заходила.

— Ну вот. — Наташа поставила чашку. — Тогда спрашивай, не тяни. Я устала.

— Покажите мне вашу сумку.

Наташа посмотрела на неё — не обиженно, не испуганно, а как смотрят на человека, который просит предъявить вещь, которую он всё равно заберёт.

Потом встала, принесла сумку и расстегнула молнию на столе, между чашкой и хлебом.

В сумке было то, что Даша и ожидала: жгут, два жгута, потому что один может порваться; спирт в бутылочке от лимонада; вата в целлофане; шприцы в упаковках, штук тридцать; ампулы в картонной коробке из-под чая; коробка конфет «Ромашка», непочатая; картонные салфетки; маленькие ножницы; и стопка бланков с зелёной сеткой, сколотая скрепкой.

— Смотри, — сказала Наташа. — Что тебе показать?

Даша взяла коробку из-под чая и высыпала ампулы на скатерть.

Их было двенадцать. Она брала их по одной и поворачивала к свету, и на трёх из них на стекле читалось тиснение, то самое, синим: 41-027.

На одной было другое.

Она отложила три в сторону и подняла глаза.

— Наталья Григорьевна, вы смотрите на серию, когда берёте?

— На серию? — Наташа удивилась искренне. — Дарья, я тридцать пять лет колю. Я смотрю, чтобы без осадка и чтобы стекло не мутное. Серию смотрят в отчёте, а не в сумке. У меня этих ампул за неделю сорок.

— А этот «Эуфиллин» вы где берёте?

— У вас беру, — сказала Наташа просто. — И у Зойки в поликлинике, что остаётся, и в опте, если сама еду.

— И вы мешаете?

— Что мешать, Дарья? — Наташа подняла на неё глаза, и в них не было ни вины, ни вызова, и от этого Даше стало по-настоящему нехорошо. — Ты в аптеке работаешь и спрашиваешь меня, мешаю ли я. У «Эуфиллина» четыре процента, он в ампуле готовый, его не мешают. Мешают то, что в порошке. Ты чего, не знаешь?

Даша знала. Двадцать шесть ампул в подвале — это был готовый раствор, и в этом всё и дело: готовый раствор нельзя испортить руками, его испортили до рук.

— Я не знаю, — сказала она. — Я не знаю, что было в этих ампулах.

Наташа молчала.

Потом сказала то, что Даша помнила потом ещё много лет, потому что это была самая честная фраза, которую она услышала за всю эту историю:

— И я не знаю. И никто не знает. Я колола то, что мне давали, тридцать пять лет, и я ни разу не спросила, что там написано, потому что у меня не было ни одной причины не верить бумажке с завода.

Она встала и убрала ампулы назад в коробку, и делала это долго, по одной, и в этом движении было не желание спрятать, а привычка: руки у неё за тридцать пять лет сложились так, что всегда что-то держат.

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты пришла? — спросила она, не поворачиваясь. — Понимаю. Пятеро за три месяца, и все у меня в тетради. Я тебе скажу одно: мою тетрадь в этом городе не читает никто, кроме меня. У меня в ней сто сорок фамилий, и против каждой написано, что и когда.

— Покажите.

Наташа вынула из шкафа амбарную тетрадь — такую же, как у Надежды Власьевны, — и положила на стол, и Даша открыла её и стала читать.

Слева: фамилия, адрес, диагноз по-простому — «сердце», «ноги», «сахар», «давление». Справа: даты и слова: «колола 10 дн.», «приходила, еды не было, принесла», «постирала», «вызвала врача», «отказалась лечь в больницу», «умерла 14.02, обмыла».

Сто сорок фамилий.

— Ты смотри, смотри, — сказала Наташа, стоя у окна. — Ты посмотри там напротив Пантелеева, что у меня написано.

Даша нашла. Против Пантелеева Семёна Ильича, у которого в кармане лежал листок со столбиком чисел и слово «четыре», стояло: «колол 9 дн., на 10-й не пришла дочь, звонила ей в Тюмень, дочь сказала — некогда. Умер 19.02».

— И что мне теперь с этим делать? — спросила Наташа. — Мне её в суд понести? Это не улика, это моя работа. Я в этом городе тридцать пять лет закрываю то, что не закрывает государство, и у меня в тетради сто сорок человек, которых я держу за руки, пока они умирают, а ты пришла и говоришь мне про серию.

Даша закрыла тетрадь, потому что не могла больше читать слова «обмыла».

— Наталья Григорьевна, я не говорю, что это вы, — сказала она.

# Пока всё хорошо, я никто

— А кто говорит? — Наташа обернулась, и Даша увидела, что у неё в глазах стоят слёзы, ровные, злые, без всякого горя, слёзы человека, которого в сто тысяч первый раз назвали виноватым. — У нас в городе так всегда: пока всё хорошо, я никто, а как умер кто-то — Наташка колола. Меня уже так хоронили, я это проходила в четырнадцатом году с гриппом, когда у меня семеро подряд ушли за неделю, и я приходила к их родне и говорила: я колола, я не спорю, я всё расскажу. Знаешь, чем кончилось? Ничем. Потому что никому это не надо, а надо только мне, потому что мне стыдно.

Она вытерла глаза полотенцем с плеча, спокойно, как вытирают лицо после воды.

— Ты вот что, — сказала она уже другим голосом, обычным. — Ты, если хочешь понять, пойди в собес, спроси там, кто оформляет пособие на одиноких. И спроси, почему это делает медсестра, а не соцработник, которого у них нет.

— Ляпина Наталья Григорьевна, — сказала Даша.

— Я, — сказала Наташа Ляпина. — Я оформляю. Двадцать лет оформляю, потому что когда человек умирает один, то бумаги оформляет тот, кто его обмыл, а обмываю его я. Я подписываю заявления вместо родни, которую не найти, и в собесе меня знают и не задают вопросов, потому что если бы я этого не делала, у нас бы в собесе лежало тридцать непогребённых.

Даша сидела и держала в руках чашку, которая стала холодной.

— А почему справки оформлены как от соцработника?

— Потому что мою должность так пишут в бланке, — сказала Наташа. — У них в форме нет графы «медсестра процедурного кабинета, которая бегает по домам». У них есть графа «социальный работник». Я двадцать лет стою в этой графе, и это в собесе никого, кроме тебя, не смущает.

Она встала и пошла на кухню, и там зашумела вода, и Даша осталась одна в зале, с сумкой на столе, с открытой тетрадью на сто сорок фамилий и с чувством, от которого ей потом было хуже всего: она сидела в квартире единственного человека в этом городе, который делал хоть что-нибудь, и держала в руках доказательство того, что этот человек делал.

Наташа вернулась с чайником и налила ей ещё, и сказала спокойно, будто они говорили о погоде:

— Пей. И слушай: рецепты я ношу. Двадцать лет ношу, тридцать фамилий, иногда двадцать. Ты их отпускаешь, я колю, старики живут. Если ты сейчас пойдёшь и напишешь на меня куда надо, то ты ничего не докажешь, потому что я не подделала ни одной буквы, а бумажки после похорон уходят в собес и живут там годами, а я останусь и буду ходить. А если ты пойдёшь и закроешь аптеку, то у нас в квартале через неделю исчезнет корвалол и я не знаю, что тогда будет.

Даша встала и взяла свою сумку.

— Я вас не сдаю, — сказала она. — Я ищу завод.

— Завод, — сказала Наташа, и это вышло у неё без злобы, с усталой, тёмной, окончательной тоской. — Ты ищи. Завод в области. У нас тут не завод, у нас тут аптека на углу и четыре бабки, и мы тут все виноваты ровно настолько, насколько виновата бумага.

На третьем этаже Даша разошлась с мальчиком лет двенадцати, у которого в руках было два пакета: в одном молоко и хлеб, в другом картошка из шахты.

— Тёте Наташе? — спросил он, потому что в этом подъезде так спрашивали всех, кто поднимался выше третьего.

— Ей.

— Она велела Тимофееву отнести, — мальчик кивнул вверх. — Он на пятом. Я за рубль ношу.

Даша вышла на улицу, где пахло дымом и оттепелью, и подумала, что в этом городе, если начать считать, кто кому что носит, то считать придётся до конца, а конца тут нет.

Через мост Даша шла пешком и на середине его остановилась, не потому что засмотрелась на реку — река в марте была цвета мокрого асфальта и никакого удовольствия не доставляла, — а потому что в правом глазу, сбоку, начало расти дрожащее пятно.

Пятно было не чёрное, а светящееся, как будто она смотрела на мир сквозь край стакана с водой. Оно росло, изгибалось, у него были зубчатые края, и оно двигалось: в таких случаях у людей бывает полчаса, и Даша эти полчаса знала наизусть.

Она села на лавку у автобусной остановки, где всегда сидели двое с работы и один с бутылкой, закрыла глаз рукой, посчитала до двухсот, потом открыла и посмотрела на дерево.

Дерево было как дерево. Асфальт под ногами был на месте. Но по левой стороне всё, что было дальше десяти шагов, сделалось маленьким и отодвинулось, как отодвигается в театре декорация, когда задник уезжает вместе с домами.

Она вынула из сумки блистер и отломила от одной таблетки половину.

Таблетки были покупные, не наши, и стоили столько, сколько стоит в этом городе половина продуктовой недели одинокого человека, поэтому Даша пила их не по три штуки, как пишут в инструкции, а по половине, и в тетради у неё против каждого приступа стояло в скобках: «пол».

Она подождала на лавке минут двадцать, пока задник вернётся на место. Потом встала и пошла дальше, на Старо-Заводскую, потому что бумага важнее глаз: за пятно в глазу никто не отвечает, а за рецепт отвечают рукой.

Клара Фёдоровна Панкратова жила на Старо-Заводской в доме с палисадом, в котором уже второй год торчали сухие стебли от подсолнухов — она оставляла их на зиму для свиристелей, и свиристели прилетали, и она про это рассказывала каждому, кто приходил.

Восемьдесят четыре года. Тридцать лет в поликлинике: сначала фельдшером на участке, потом старшей медсестрой — то есть человеком, у которого под ключом лежали бланки.

Даша принесла чай в пакетиках и зефир, потому что в аптеке на углу все знают, с чем к старикам ходят: не с коньяком и не с апельсинами, а с чаем, который у них кончился.

— Пришла, — сказала Клара Фёдоровна, отпирая. — Ну и хорошо. Я думала, ты придёшь раньше.

— Почему раньше?

— Потому что в феврале в зале у вас умерло двое, а ты человек с тетрадкой. — Она поставила чайник и села напротив, положив руки на стол, как кладут их люди, привыкшие держать руки поверх бумаг. — Спрашивай.

— Про девяносто восьмой, — сказала Даша.

Клара Фёдоровна кивнула, будто ждала именно этого, и стала рассказывать так, как рассказывают то, что тридцать лет лежало непрочитанным.

— В девяносто восьмом в городе умерло шесть человек, — сказала она. — Не за год. За три недели, в ноябре. Все шестеро — из одного дома, того, что на Советской, где лифт не работает с самого начала, потому что его не доделали. Дед, две бабки, ещё дед, ещё бабка и женщина, которая была младше всех и у которой я, между прочим, роды принимала. Я это помню точно, потому что я тогда впервые в жизни села и выписала их всех на лист.

— Почему на лист?

— Потому что у них у всех была одна и та же история: давление, укол, стало хуже, к утру нет человека. — Клара Фёдоровна посмотрела на неё. — Тебе доказывать не надо, ты фармацевт. Я тебе скажу, как есть: у нас тогда сложилось впечатление. Слово «впечатление» я помню, потому что я его потом в акте написала и мне за это слово сделали замечание.

— Кто сделал?

— Неважно кто. Заведующая сказала: пиши «по факту», не пиши «впечатление». По факту было шесть смертей в пожилом возрасте в ноябре, и по факту у нас в ноябре всегда смертность выше, потому что давление и гололёд. Всё сходилось. Всё всегда сходится.

— А что не сходилось?

— Дом, — сказала Клара Фёдоровна. — Дом не сходился. Шесть человек из одного подъезда — это не давление и не гололёд, это маршрут. Я тогда села и подумала: если бы я была не я, а следователь, я бы пошла и спросила: кто в этом доме ходил по квартирам с сумкой.

— И спросили?

— Меня спросить не могли, потому что я не следователь. — Клара Фёдоровна отпила чаю. — Я пошла в горздравотдел, в областном городе, в кабинет, где сидел молодой человек с усами, и я ему сказала то же, что тебе. Знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «Клара Фёдоровна, у нас тут не Чикаго. И если каждый фельдшер будет писать по акту на каждую смерть старика от давления, у нас бумага кончится, а бумагу нам выдают по разнарядке».

— А ваша аптека?

— А при чём тут аптека, деточка? — Клара Фёдоровна усмехнулась. — Аптека — это последний, кто видел бумажку. Аптека в этой истории виновата ровно так же, как бухгалтерия в истории с недостачей: то есть первая, кого сажают, и последняя, кого спрашивают.

Даша вынула тетрадь.

— Клара Фёдоровна, а мама?

— Таня, — сказала Клара Фёдоровна, и Даша услышала, как это имя в этой комнате звучит иначе, чем в её собственной голове: не «мама», а «Таня», молодая, с большими руками, в халате, который в аптеке всегда был один и тот же. — Таню я знала сто лет. Она пришла в аптеку после училища и осталась, и у неё был самый аккуратный почерк в районе, что для фармацевта, между прочим, главное, потому что рецепт — это разборчивость.

— Что она делала в девяносто восьмом?

— Она приходила ко мне. — Клара Фёдоровна поставила чашку так, что она стукнула о блюдце. — Три раза. В статистику, где лежат справки о смерти, потому что оттуда идёт ведомость на лекарства по льготе, и по этой ведомости видно, кто умер с лекарством, а кто без. Она мне говорила: «Клара Фёдоровна, дайте посмотреть». Я говорила: «Не положено». Тогда она села вот за этот стол и сказала: «Тогда я вам продиктую, а вы подпишете, что я переписала правильно» — и переписала. Шесть фамилий, шесть дат, шесть диагнозов. Своим мелким почерком, с нажимом, знаешь, как она писала: с нажимом так, что бумага продавливалась.

Даша почувствовала, как у неё в горле стало сухо.

— И?

— И потом она пошла в аптеку и написала акт, — сказала Клара Фёдоровна. — На партию. Я своими глазами видела этот акт: два листа, от руки, в трёх местах подпись. Акт у неё не приняли, потому что не было ни одной претензии от потребителя: жаловаться надо было, пока живой, а мёртвый не жалуется, у нас про это даже врачи так говорят.

— А что с ней было потом?

— Ничего. — Клара Фёдоровна пожала плечами. — Хозяин сменился, аптеку взял твой отчим, она осталась вторым человеком, потому что лучше её никто бы не вёл тетрадь, у неё тетрадь была, как протокол. Просто с тех пор она мне два года говорила одно и то же: «Клара Фёдоровна, у нас в городе всё сходится, а я не верю». И потом перестала.

— Почему перестала?

— Потому что у неё началась жизнь, — сказала Клара Фёдоровна. — У людей сначала жизнь, а потом убеждения, а не наоборот.

Даша молчала, а потом спросила то, зачем пришла на самом деле, и тот вопрос, который она никому никогда не задавала целиком.

— Клара Фёдоровна, вы знали, что мама видела мир не так, как все?

Старуха посмотрела на неё долго.

— Ты это по себе спрашиваешь, — сказала она. — Не притворяйся.

— По себе тоже.

— Знала. — Клара Фёдоровна вынула платок и вытерла уголок глаза, и по этому движению было видно, что она делает так не из-за слёз, а из привычки, которой пятьдесят лет. — В аптеке зимой всегда горит верхний свет, четыре лампы, и я тебе скажу точно: во всей аптеке верхний свет просила гасить одна женщина за тридцать лет. Таня. Она никогда не жаловалась, она просто говорила: «Клара Фёдоровна, сегодня не надо верхнего, мне неудобно». А один раз, я помню, как сейчас, она пришла ко мне и сказала: «Люди в зале делаются как из картона и далеко, и я не понимаю, что мне об этом думать».

— Что вы ей ответили?

— Я ответила то, что я и сейчас скажу: «Таня, иди к врачу, но не к нашему». Потому что наш невролог в ту пору был человек с одним диагнозом на всех: у него у всех был хондроз.

— А как она с этим жила? — спросила Даша шёпотом.

И Клара Фёдоровна ответила то, из-за чего Даша потом три ночи не спала.

— А вот как: она приходила и говорила — «пойдёмте посмотрим вместе». — Старуха произнесла это без нажима, спокойно, потому что для неё это была ежедневная практика, а не прозрение. — У неё было правило: если она видела, что кто-то дал ей не то или сказал, не то, она не верила ни себе, ни ему, а шла к другому человеку и просила проверить. Сначала ко мне. Потом, когда я ушла, к своей напарнице. Она говорила: «Я не доверяю своему глазу, но я доверяю руке».

— Руке?

— Руке, которая запишет. — Клара Фёдоровна подняла свою сухую руку и пошевелила пальцами. — Вот этой. Ты знаешь, что делает фармацевт, у которого в глазу пятно? Он идёт и весит. Потому что сто граммов — это сто граммов даже тогда, когда мир уехал вдаль.

Даша ушла от неё в четвёртом часу, попросив напоследок рассказать про поликлинический процедурный кабинет девяносто восьмого года.

— Процедурный был один, — сказала Клара Фёдоровна. — На весь квартал, между регистратурой и флюорографией, и там стояло четыре кушетки и одна колба с водой. На дом ходила одна: молоденькая, потому что старшие на дома не ходили, старшие говорили «у меня ноги». Наташка.

— Какая Наташка?

— Ляпина. — Клара Фёдоровна посмотрела на неё. — Наташка Ляпина, я её сама в восемьдесят девятом принимала на работу, она пришла после курсов, маленькая такая, в белом халате с чужого плеча. Я её и в процедурный поставила, поэтому она и сейчас-то у вас.

Даша стояла уже в дверях, с сумкой на плече.

— А отчество у неё?

— Григорьевна, — сказала Клара Фёдоровна. — Наталья Григорьевна. Ты что, за шесть лет не знала, как её зовут?

Даша вышла на улицу.

На Старо-Заводской пахло дымом, потому что дымили почти все печи, и в этом дыму, ровном и общем, как дождь, она стояла и держала в руке тетрадь с записью, которую сделала час назад: «Ляпина Н. Г., соцработник, собес».

Участковый пункт помещался в первом этаже дома на Советской, в комнате, где до девяносто шестого года была колясочная: дверь с улицы, стол, два стула, сейф, фикус и на стене — график приёма, написанный от руки и уже дважды исправленный.

Сорокин принял её в четверг, после обеда, потому что до обеда у него был обход.

Он выслушал её до конца, не перебивая, и Даша оценила это как работу: она сама так слушала людей, которые приходили к ней с рецептом, написанным не тем лекарством.

Она выложила на стол всё, что у неё было, в том порядке, в котором сама это выстраивала:

тетрадь отпуска с пятью записями и пятью датами;

тетрадь приступов, где эти же даты стояли во втором столбце;

переписанные от руки номера справок собеса со слов похоронного агента;

строку из журнала учёта бланков и три номера испорченных бланков;

упаковку от ампул и ампулу из банки Заславской.

Ампулу Сорокин взял в руки и повертел, как вертят в руках вещь, которую видели сто раз и никогда не читали.

— «Эуфиллин», — сказал он. — Это что?

— Это от давления, — сказала Даша. — И от астмы. И от отёков. Это в каждой аптеке. Это у нас по льготе.

— Дальше.

— В аптеке по этой серии двадцать шесть ампул. Восемь ушли в феврале по акту оказания помощи. Остальные в подвале. У одной лежачей я нашла банку с ампулами этой же серии, и упаковку, и телефон аптеки, написанный в её тетради чужой рукой.

Сорокин отложил ампулу и сел ровно.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь ты послушаешь меня. Я тебе не буду говорить «осень, Даша», потому что мы не первый раз с тобой разговариваем за твою жизнь, и ты мне не первый год не чужая. Я тебе скажу, как оно есть по бумаге. Пять человек умерли. У всех пяти есть справка о смерти, и в каждой справке написано: диагноз такой-то, смерть дома, до приезда. Это не моя бумага, это бумага врача. Ты говоришь: рецепт один и тот же. Я не могу проверить, один он или не один, потому что рецепт аптека у себя не хранит, аптека его сдаёт. Ты говоришь: пять справок собеса. Справки настоящие, в собесе не спорят. Ты говоришь: женщина. Ну, женщина.

— У меня номера поддельные.

— У тебя три номера, которые написаны «испорчено», — сказал Сорокин. — Три. И что? У меня в году двести испорченных талонов на кровь. Ты принесла мне три номера и просишь, чтобы я по ним возбудил дело.

Даша молчала.

— Вот ты сейчас подумала: я ленивый, — сказал он. — Все так думают, это нормально, я и сам бы так думал. Я тебе объясню, почему я не могу. Чтобы возбудить, мне нужен повод. Повод бывает двух видов: заявление от потерпевшего — а у меня нет ни одного, у пятерых родня приехала на похороны, подписала бумаги на пособие и уехала, — или признаки преступления, а признаки — это когда видно, что человек умер не своей смертью. А теперь скажи мне честно: по какому из пяти ты видишь, что не своей?

— Они все умерли после укола.

— Откуда ты знаешь?

— У них у всех был курс. У Пантелеева в кармане листок со столбиком чисел и слово «четыре». У Игнатьевой в тетрадке: «ставила уколы». У Заславской в банке ампулы.

— Хорошо, — сказал Сорокин. — Хорошо. Что делает укол? Укол лечит. Укол лечит давление. Бабка восемьдесят два года, у неё давление двести, ей ставят укол от давления, ей становится лучше, потом её не становится. Кто виноват?

— Тот, кто ставил.

— Докажи, что не от давления. — Он развёл руками. — Мне нужен эксперт. Эксперт стоит денег и времени, экспертизу назначают в рамках дела, а дела нет, потому что нет трупа, который бы не согласился с диагнозом, все уже в земле, и никто их не поднимает. И вот с этого места, Даша, слушай меня внимательно, потому что дальше самое главное.

Он вынул из ящика лист и ручку и начал писать своей рукой, крупно, с наклоном, шевеля губами от усилия, как пишут все люди, которые пишут редко: «Объяснение».

— Я сейчас запишу всё, что ты мне сказала, — сказал он. — Я запишу, что у нас в городе пять смертей стариков, и что по ним нет ни жалоб, ни заявлений, и что родственники претензий не имеют. Я беру с твоих слов номера справок и звоню в собес при тебе, потому что при тебе — это единственный способ, чтобы ты потом мне не говорила, что я ничего не делал.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.